

НОВАЯ ПОЛЬША

№5⁽⁷⁵⁾



2006

ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ ГОРБАНЕВСКОЙ

Отец Юзеф Тишнер исповедует Раскольникова

Збигнев Жакевич: поляки у Достоевского

КАТАЖИНА ЯНОВСКАЯ О ЛЕМЕ

«Мои русские» Виктора Ворошильского

ЕЖИ ФИЦОВСКИЙ ОТПРАВИЛСЯ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

Приглашаем всех читателей посетить интернет-сайт «Новой Польши»:
www.novpol.ru



PKO BANK POLSKI

ПОЛЬСКИЙ БАНК «ПКО»

главный спонсор

деятельности Национальной Библиотеки в 2006 году

НОВАЯ ПОЛЬША

ISSN 1508-5589



№ 5(75)
2006
МАЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК



БЛАГОДАРНОСТЬ
К 70-летию Натальи Горбаневской 3

Наталья Горбаневская
СТИХОТВОРЕНИЯ 4

Наталья Горбаневская
КТО С КЕМ ДРУЖИТ 12



Виктор Кулерский
ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 17



ФИЛОСОФ САРМАТОВ
Беседа с о. Ярославом Ягелло 23



Юзеф Тишнер
ФИЛОСОФИЯ ДРАМЫ 27



Збигнев Жакевич
ПОЛЯКИ У ДОСТОЕВСКОГО 35



Катажина Яновская
ВСЕЛЕННАЯ К ЧАЮ 41



Петр Черемушкин
ДУША — НЕ ЗУБНАЯ ПАСТА 45



Марек Щепаник
ШАНСЫ, УКРЫТЫЕ В СУНДУКЕ 51



Олег Закиров
ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
КАТЫНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 53



Ежи Фицовский
СТИХОТВОРЕНИЯ 55

Лешек Шаруга
ЧЕЛОВЕК ПОГРАНИЧЬЯ 59

Ян Юзеф Липский
О ПОЭЗИИ ЕЖИ ФИЦОВСКОГО 60



Януш Одровонж-Пенёнжек
ЭТА СТАРУШКА

63



ПОЭЗИЯ ПОВЫШАЕТ ПЕРСТИЖ ГОРОДА
Беседа с Артуром Буриштой

67



Анджей Мандальян
РОДСТВО ПО ВЫБОРУ

69



Янина Куманецкая
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

72



Лешек Шаруга
ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

75



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ФОРМИРУЮТ ЛИЧНОСТЬ
Беседа с Анджеем Б. Легоцким

79

Переводчики: А. Базилевский, Н. Горбаневская, Н. Кузнецов,
М. Курганская, Ф. Стеклова, Е. Твердислова, Е. Шиманская
Фото ©: Agencja Gazeta (стр. 79), Archiwum (стр. 3, 45-50, 59), Internet:
www.gillink.info (стр. 68), Е. Lempp (стр. 23, 70), М. Roginska (стр. 26)

Редакционный совет

Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Цёсек

Ежи Помяновский

(главный редактор)

Редколлегия

Элиза Вольская
Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер (зам. гл. редактора)
Кристина Пашек (секретариат)
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих
(зам. гл. редактора, секретарь редакции)
Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция

Кацпер Ванчик

Адрес редакции

Al.Niepodległości, 213
02-086 Warszawa
Ал. Неподлеглости, 213
02-086 Варшава
тел: (0-22) 608 27 95; 608 25 65
факс: (0-22) 608 25 05; 608 27 96
e-mail: nowpol@bn.org.pl

Информация о журнале для стран СНГ:

Издательство МИК, Москва,
ул. Большая Переяславская,
д.15, кв.49
тел: 621-41-42
e-mail: mic@inbox.ru

Издатель

BIBLIOTEKA NARODOWA
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

По поручению
Министерства Культуры
Республики Польша

Тираж 4800 экз.



БЛАГОДАРНОСТЬ

К 70-летию Натальи Горбаневской



С самого первого номера она очень важный человек в редакции «Новой Польши». Однако наша близость не переродилась в рутину. Мы сознаём, с кем нам довелось работать.

С молодости у Натальи Горбаневской было три призвания: поэта, редактора и правозащитника. Ее стихи — жесткие, немногословные, с большим трудом поддающиеся переводу (лучше всех с этим справлялся Виктор Ворошильский) — можно и в то же время нельзя назвать лирической исповедью. Создается впечатление, что автор говорит о себе как о ком-то другом, об одной из многих, отдает свой голос безымянному, безмолвному человеку нашего столетия,

его любовям, мелким радостям жизни, его религиозности, вовсе не означающей спокойствия духа.

Стихи Натальи Горбаневской поначалу распространялись в самиздате, потом выходили на Западе (первые книги — еще до ее эмиграции). В 2003 г. в Москве вышла большая книга: под одной обложкой — избранные стихотворения «Русско-русский разговор» и последний на тот момент сборник «Поэма без поэмы». На днях в издательстве НЛЮ выходит новая книга ее стихов — «Чайная роза».

Одновременно поэтесса ставит свой талант на службу польским авторам, переводя их стихи — начиная с Циприана Норвида и кончая Яцеком Подсядло. Разумеется, Наталья Горбаневская переводит для «Новой Польши» и другие тексты, часто сопровождая их необходимыми комментариями, а также редактирует чужие переводы. В этом она невероятно требовательна как к другим, так и к себе самой.

Редакционной работой Наталья Горбаневская занимается всю свою жизнь. Она была основательницей «Хроники текущих событий», в эмиграции работала в редакциях «Континента» и «Русской мысли», где посвящала много места польским делам — особенно в 80-е. Всем приезжавшим тогда в Париж полякам она служила помощью и советом, дарила книги — даже из своей личной библиотеки. Для нас она была бесценным источником информации о русской эмигрантской литературе и диссидентском движении в СССР. О ее связях с польской оппозицией свидетельствуют продолжающаяся по сей день дружба со многими поляками и два сборника стихов, выпущенных в 1986 г. парижским издательством «Контакт», — «Переменная облачность» и «Где и когда».

В Польшу она впервые приехала в 1988 г. на нелегальную (хотя и не запрещенную) Международную конференцию по правам человека, организованную Зофьей и Збигневом Ромашевскими.

Ошибкой было бы думать, что правозащитная деятельность Горбаневской ограничивается прежними временами, когда она собирала подписи под письмами протеста или когда в числе восьми демонстрантов вышла на Красную площадь в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию (впоследствии она описала это в документальной книге «Полдень»). Ее отличает сознание того, что борьба за права человека не прекращается даже после падения того или иного режима, что восприимчивость к их нарушению естественна, как дыхание. Она умеет ясно и решительно сказать «нет», невзирая на обстоятельства и авторитеты.

Эта бескомпромиссность, так же, как и поэтическая чуткость, свидетельствуют о ее энергии и молодости. И все же, поддаваясь магической силе круглых дат и желая выразить наши чувства к Наталье Горбаневской, мы празднуем ее семидесятилетие.

Короче говоря: спасибо за то, что ты такая, какая есть, и за то, что ты с нами.

От имени редакции *Петр Мицнер*



Наталья Горбаневская

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из книги «Три тетради стихотворений»

*

Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья,
будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,
дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.

И, прикована вечной незримою цепью к нему,
я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому,
в закопченном углу, где темно, и пьяно, и убого,
где живет мой народ без вины и без Господа Бога.



Из книги «Где и когда»

*

Пчела, пчела, зачем и почему
не для меня яд обращаешь в мед,
черна, черна — что к дому моему
тропинка ядовитая ведет,

травинка губы колет, и распух
чего-чего наговоривший рот,
и бедный дух глагольствует за двух,
но что ни молвит — всё наоборот.

О чем очей неуголимый жар?
Над чем ночей горячая мгла?
О, пощади, пчела! Пчела, не жаль!
Ужель тебе не жаль меня, пчела?



Из «Седьмой книги»

*

Ничто не повторится. Никогда.
Но в каждом новом — привкус повторенья,
и пишущееся стихотворенье
— как со шпаргалки. Черная вода

в чернильнице наводит подозренье,
что вложен был хороший кус труда,
что промывалась тяжкая руда
и острое прищуривалось зренье.

Но глаз, глядящий в дальний Арзамас,
заплыл слезою. Кто-то пьет за нас
170 лет, а мы, чужим похмельем
полны, в давнопрошедшую тетрадь
заглядываем, списываем, клеим...
И время жить, и время повторять.



fig.1



fig.170



Из книги «Еще одна»

Animula vagula, blandula...

*

Душенька блуждающая, нежная,
бландула, вагула анимула,
твои шутки, шутиха, — безнадёжные,
твой любимый отель — мое немилое

тело. Да и много с нас толку ли?
На торгу, на толкучке суетной
затолкали нас обеих, заторкали.
И куда теперь? Перетасует ли

Парка старая гаданье наново?
И что выпадет — Вытегра, Няндомы,
Колывань, или Тамань, или Иваново?..
Анимула вагула, бландула.





Из книги «И я жила-была»

*

В ожидании конца
не толпитесь на пороге.
Всем достанутся чертоги
в доме нашего Отца.

Не дыши в чужое темя
свежей стружкой и смолой.
За надышанную мглой
есть и место, есть и время.

Шестикрылый номерок
от волнения промок,
на ладони у любого
расплывается лилово.

Не толпитесь за чертою,
не томитесь немотою,
в доме нашего Отца
песни не кончаются.

*

Хладом повеяло, холодом
с северной стороны.
Хмелем замешена, солодом
память холодной войны

С надвое сердцем расколотым
косимся, как в протокол:
накрепко ль над серпомолотом
вбито осиновый кол?





Из книги «13 восьмистиший и еще 67 стихотворений»

*

Кто там ходит под конвоем
«в белом венчике из роз»?
Глуховатым вьюга воем
отвечает на вопрос.

Иней, розами промерзлый,
колет тернием чело.
Ветер крутится промозглый,
не вещает ничего.

А в соседней зоне Дева
не смыкает слезных век.
Шаг ли вправо, шаг ли влево —
всё считается побег.

В тихом небе ходит Веспер
— наваждение...
А конвой стреляет без пре-
дупреждения.





Из книги «Поэма без поэмы»

*

И вторю, и цитирую,
себя же имитирую,
то цитрою, то лирою
бряцаю невпопад.
С одной строкой нетвердою,
как с писаною торбою,
ношусь, дурею, пробую
наладить струны в лад.

Я вдвое, втрое, ввытрое
сухие слезы вытру и —
и цитрусовой цитрою
из горла выжму сок.
Не пешее, не конное,
дрожит стекло оконное
и нотой беззаконною
колотится в висок.

*

И снова я слышу «нет» и «нет» говорю,
но теперь гляжу в Интернет и уже не горю
стыдобою, злобой на рот, не прошепчуший «да»,
ничьею зазнобой не быть — не была — никогда,
ничьею ручейной русалкой, ничьей Лорелей,
не жалко? нет, не жалко, поди погуляй,
мерцает экран, протекает кран, за окном не метель,
убери постель, постели себе тень на плетень.





Из книги «Чайная роза»

*

Ох тятя-тятя, ох наши сети,
ох когой-то они притащили...
Ох трусоваты бедные дети,
залегли от страха в ложине

и выглядывают оттуда:
вурдалак? утопленник? наяда?
или еще пострашней чудо-юдо?
Дети-дети, бояться не надо,

— отвечает им тятя, — ни чудищ, ни страшилищ,
не поддайтесь ни фантазму, ни фантому.
Так ответил им тятя, черти утащили ж
храбреца в самый тихий омут.

*

Где заумь становится бэзумью,
а стон обращается в вой,
лови эту Музу болезную
с кудлатою головой.

Корми ее, мой и расчесывай,
расчесывай раны ея
и русской строфой стоеросовой
ступи за порог бытия.





Из стихов 2006 года (публикуются впервые)

*

Ни хвостиков, ни черточек, ни точек,
емеля нам выравнивает почерк,
и спросишь: «Как жена?» — а выйдет «зона»,
и держишь сам себя за фармазона,
который был исходно франкмасоном,
умом не сонным, духом не бессонным,
душой не чутким и несклонным к шуткам,
давно отправленным ко всем анчуткам.

Поставь на переписку знак товарный,
и верный росс пойдет, как лях коварный,
извертываться, врать и лицемерить
и самому себе уже не верить,
не доверять рефлексам и привычкам,
ключам в кармане, спичкам и отмычкам,
влюбленностям заречным и заморским
и давним радостям консерваторским.

Поставя копирайт на переписку,
ты сам себя переберешь по списку,
по перечню, где уши-руки-ноги
гуляют парами, за ними по дороге
— как ээк со шконкой — печенка с селезенкой,
и все одето кожей тонкой,
которой так недолго надорваться
и обнажить... — и обнажиться, братцы!

У переписки, пересвиста птичья,
ни замысла (а значит, и величья),
ни умысла (на подрыв и сверженье),
ни помысла (как выйти из окруженья),
ни мысли, хоть бы вялой и небойкой,
и только рифмы ходят парой или тройкой.



Комментарий автора (специально для «Новой Польши»): Это стихотворение появилось вскоре после того, как я несколько дней интенсивно переписывалась с вроцлавским издательством «Атут», выпускавшим мою книгу «Полдень». Речь шла о вставке в текст книги примечаний, сделанных мною в прошлом году, когда я готовила отрывки из книги для публикации в журнале «Урал» (2005, №6). Примечания уже были переведены, но издательство не знало, в какие места книги их надо вставить. Вдобавок следовало исправить устаревшую биографическую справку и еще какие-то мелочи. Писала я по электронной почте («емеле») латиницей, но без всяких диакритических знаков (хвостиков под буквами, черточек и точек — над), отчего в тексте писем появляются странные омонимы. Правда, «жена» (żona) и «зона» (zona) здесь не фигурировали — это было более раннее наблюдение. Польский контекст, видимо, вызвал и появление «верного росса» (из «Клеветникам России») и «коварного ляха» — искаженная цитата отсюда же. У меня в памяти вместо «Кто устоит в неравном споре: / Кичливый лях, иль верный росс?» лях вечно оказывается «коварным» — видимо, моя собственная поэтика требует этого «верный — коварный». Следует еще пояснить не всем ведомое слово «шконка» — это тюремно-лагерная койка (в отличие от нар).

*

Неистовствуй и истину гласи
так истово, как некогда, как встарь,
и помни, что веселие Руси —
ложить людей как жертву на алтарь.



Наталья Горбаневская

КТО С КЕМ ДРУЖИТ

Заметки «польки *honoris causa*»*

Никогда не могла понять, что значит «дружба народов». Дружить могут люди, дружба — куда более индивидуальное чувство, чем любовь. Любвью могут быть охвачены толпы и даже народы (как, например, поляки безответно любят французов, как русские в 50-80-е годы любили поляков). Но дружить можно только один на один (дружба, правда, всегда сопровождается любовью, а любовь дружбой — не обязательно), а уже вокруг этих дружб складывается компания друзей, зачастую и не одна. Другое дело, что чем больше, скажем, конкретных русских дружит с конкретными поляками, французами, американцами, украинцами, тем больше надежд на нормальные, не омраченные враждой отношения между народами. Только не будем называть их дружбой.

Я из тех — сразу подчеркну — сравнительно многих русских, которые дружили и дружат с поляками. Хотя начиналось, конечно, с любви, влюбленности в незнакомую Польшу, в самый, простите за банальность, «веселый барак социалистического лагеря», в поляков, таких, казалось нам, необычайно умных и талантливых, — в тех самых поляков, которых я еще долго живьем не видела. Вот когда реальные поляки начали занимать место — и все большее место — в моей жизни, тогда появились и реальные представления о них, а со временем и о самой Польше. Приведу два воспоминания разного времени. В 1972 году мне привезли в Москву из Парижа второй русский выпуск «Культуры». Я и мои друзья читали его с восхищением, и одна подруга спросила меня: «Ну почему эти поляки такие умные? Почему мы не такие?» С опозданием могу ответить (а тогда я разделяла ее мнение): это не вообще поляки были «такие умные» — это была «Культура», ее авторы, да еще специально отобранные, чтобы показать русскому читателю самое интересное, самое важное. Второе воспоминание относится к концу 1982 года — первого

года военного положения, когда в Париже оказалась огромная невольная эмиграция: поляки, которых 13 декабря застало за границей. Я тогда жалобно сказала Миреку Хоецкому: «Мирек, знаешь, я за этот год лучше узнала поляков — и уже не так их люблю». Мирек мрачно улыбнулся: «Ты их еще недостаточно знаешь». Что же, могу сказать, что теперь я знаю их «еще лучше» — и... Зато скольких реальных, а не мифических поляков я за эти годы полюбила, скольких друзей приобрела.

Из всего этого затянувшегося вступления можно понять, что мое отношение к полякам — хоть и не свойственно среднестатистическим русским, но все-таки и не такое уж исключение. Не будучи полонистом по образованию, я стала «полонистом-практиком»: переводила, писала, показывала полякам Париж, знакомила русских с поляками, а бывало, и поляков с поляками (как когда-то, будучи москвичкой, знакомила ленинградцев с ленинградцами). Но как это начиналось? Откуда взялся «мой польский», а за ним — и «мои поляки»?

«Мой польский», т.е. польский язык и польское чтение, был, конечно, «нашим польским» — языком и чтением моего поколения, того, которое считает себя поколением 56-го года — не столько XX съезда и (у многих, но отнюдь не у всех) пробужденных им надежд, сколько Венгрии и (у тех, у кого они были) разбитых иллюзий. Летом-осенью того года вылавливать какую-то правдивую или, точнее, близкую к правдивой информацию можно было лишь в польских и югославских газетах. Многие принялись их читать: в конце концов, и они, и мы — славяне, что-нибудь да поймем. С сербским я сразу не справилась, по-польски кое-как начала разбираться. Одна знакомая, в прошлом моя однокурсница, но со славянского отделения, дала мне «Новую культуру», которая в СССР не попадала: газету получал от своих варшавских коллег ее отец, известный полонист. Из этого номера я — заметьте, совсем не зная языка, то есть совершенно нагло, — перевела коротенькое стихотворение Леопольда Стаффа. Понять его было как будто легко — я и думала, что поняла. Воспроизвожу как помню:

* Хотя теперь я — получив в 2005 г. польское гражданство — уже, можно сказать, «полька в законе», думаю, что «почетность» все-таки осталась: ей, собственно, я и обязана своим гражданством.



*Я воздвигал на скале —
и рассыпалось.
Я воздвигал на песке —
и рассыпалось.
Стану я строить теперь
на легком дымке из камина.*

Речь, конечно, шла о дыме из трубы (komin), да и «скала» — это в данном случае просто камень (как «ты — Петр, и на сем камне...») — в польском переводе Евангелия («на скале»), но... у меня не было даже словаря, и я заменяла знания догадкой и энтузиазмом. Самое поразительное, что я отправила перевод автору, прямо на адрес редакции, и получила от него ответ, очень сдержанный: он указывал мне мои ошибки, но не выражал недовольства. Видимо, польская вежливость не позволяла сказать, что этот перевод — хоть чистая и бескорыстная, но халтура.

Поэтому, когда я говорю, что первым польским стихотворением, которое я перевела, стали «Дожди» Кшиштофа Камиля Бачинского, — это правда. Это был мой первый настоящий перевод польского поэта. Но это был уже 1973 год, т.е. 17 лет спустя.

Интерес к польскому языку был в те времена лишь частью увлечения всем польским: польским кино в первую очередь, польской прессой, сначала лишь журналом «Польша» на русском языке, чьи обложки украшали стены у тех моих редких ровесников, кто жил не в коммуналке, а в своей комнате отдельной квартиры, затем польскими журналами (еженедельниками) на польском — на них можно было подписаться. Читалось всё — всё было интереснее, ярче, острее, чем советского иллюстрированного уныния. Постепенно среди журналов выделился «Пшекруй». Сколько раз я видела недоверчивое изумление поляков, когда на вопрос, как я научилась читать по-польски, я отвечала: по «Пшекрую». Много позже я была полностью вознаграждена, прочтя тот же самый ответ в одном из польских интервью Иосифа Бродского, тогда уже нобелиата. А еще в одном его интервью обнаружила, что подписала Бродского на «Пшекруй», когда он был в ссылке, — о чем совершенно успела позабыть.

Для очень многих моих ровесников Польша была прежде всего «окном на Запад» — они читали книги западных писателей, уже изданные по-польски, но еще не разрешенные к выходу в СССР по-русски. Я же погрузилась в польские книги и журналы. Зофья Капустинская, чьим именем оза-

главлена поэма Бродского, присылала мне «Диалог», на который в СССР подписки не было. «Творчество» я выписывала.

Читала я тогда очень много: и поэзию (по преимуществу XX века), и литературоведение (включая книги, достававшиеся мне не из магазина, а от знакомых: так, Н.Я.Мандельштам отдала мне подаренную ей книгу Рышарда Пшибыльского «Достоевский и проклятые вопросы», а один мой ленинградский приятель — книгу эссе Северина Полляка, с которым он случайно встретился на улице ночью и показывал ему город), и кое-что по истории разделов Польши и польских восстаний. Но почему-то я особенно заиклилась на времени немецкой оккупации (см. мою статью «Венок полеглим» о «двадцатилетних варшавских поэтах» — «Новая Польша», 2005, №11). После «Пепла и алмаза», первой книги, которую я по-настоящему одолела и к концу уже читала свободно, я прочла сборников рассказов Анджеевского «Страстная неделя», потом прозу Боровского, а позже и его стихи. Читала я и разные документальные свидетельства — был тогда в Варшаве издан пятитомник рассказов и очерков об оккупации.

К Бачинскому я пришла через Эву Демарчик, хотя, наверное, книжка его — из серии польской поэзии, микроформат, белая твердая обложка, — у меня уже и тогда была. Но у меня их было много, я эту серию собирала, однако еще не могла вчитаться: на поэзию мне языка все еще не хватало.

В 1967 году в Москве проходила Неделя польской культуры, и в «Мелодии» на Новом Арбате я купила грудку польских пластинок. Среди них была и неизвестная мне дотоле Эва Демарчик. О том, как я ее слушала, как я слушала Бачинского, как я его позже переводила, тоже говорится в статье «Венок полеглим».

Бывают странные сближения. Осенью 2004 г., после статьи «Венок полеглим», я написала «Три стихотворения памяти дома с бельэтажем и мезонином» — того самого дома в Сивцевом Вражке, где я когда-то слушала и ставила друзьям пластинку Демарчик. О Демарчик и Бачинском в этих стихах нет ровным счетом ничего, но есть там такие три строки:

*А мой предмет — увечный переулоч,
где жар страстей таков казался пылок,
что пыль сама преображалась в пыл...*



А несколько дней спустя, снова слушая пластинку Демарчик, я поняла, что это «пыль — пыл» пришло оттуда. Есть там строки о «черной пыли» — в прекрасном переводе Александра Ревича: «сдуй с волос мне пыль и порох, / дней отпора / черный прах», — но в оригинале дважды повторяется «пыль» (дословно: «пыль битв, / тех лет гневных / черная пыль»), по-польски мужского рода и с твердым «л» на конце.

Но слушала я тогда не только Демарчик. Умея читать, я практически не умела говорить: произношение выучила — очень приблизительно — по учебнику. Теперь же я его совершенствовала, слушая Демарчик и Станислава Гжесюка, певца то забавных, то трагических варшавских уличных песенок. Это два моих учителя польской фонетики.

А заговорила по-польски я и вовсе только в Париже... За все годы до эмиграции я встретила разве что пятерых поляков. Первым встреченным мной поляком был — ничего удивительного — Анджей Дравич. Меня познакомили с ним в 1963 году в Ленинграде. Я тогда рьяно занималась распространением «Реквиема» — дала «Реквием» и ему. Прошло несколько месяцев, я прихожу к Ахматовой, она мне показывает книжечку и говорит: «Ох, Наташа, не надо было давать «Реквием» этому поляку. Но я, конечно, понимаю, такой красивый поляк...» (он тогда еще не был совершенно лысым, каким его все помнят). Правда, Анджей потом, когда я его встретила в Париже, клялся, что он не передавал, а еще позже мне кто-то говорил, от кого это пришло на Запад, действительно из Польши. Но «Реквием» распространялся в таком количестве экземпляров, что невозможно было себе представить, что он не попадет на Запад. А в Польше в то время «Реквием», хотя и не совсем целиком, был напечатан в «Твурчости», до того как вышел на Западе. Думаю, что это был перевод Северина Поляка — может быть, он прямо от Ахматовой получил, он с ней встречался.

Дравич невероятно много сделал для популяризации русской литературы в Польше. Но скажу честно, что как литературовед он был все-таки не больше чем популяризатор. Каких-то глубоких новых идей у него нет. Зато в роли популяризатора другого такого не было. Правда, когда в конце 80-х он из номера в номер «Тыгодника повсехного» принялся популяризировать «перестройку» и до небес превозносить Горбачева, то я воспринимала его статьи как безудержную — хотя, может быть, и искреннюю — дезинформацию.

Но вот в конце 1975 года я эмигрировала, а в начале 1976-го приехала в Париж. Что такое журнал «Культура», я знала и до эмиграции: читала отдельные попадавшие ко мне номера; слушала обзоры «Культуры» по «Свободной Европе». Впервые «Культуру» я увидела в Вильнюсе в 1967 году, и тогда же — первую в моей жизни книгу, изданную «Институтом литерацким», — «Кладбища» Марэка Хласко. Приехав в следующий раз в Вильнюс, я выпросила у владельца эту книжку. Она долго жила у меня, я ее даже на магнитофон переводила, но потом началась эпоха арестов, и этот перевод на больших магнитных катушках переезжал из дома в дом и где-то безвозвратно пропал. В Париже я перевела повесть заново, и перевод был напечатан в 3-м русском номере «Культуры».

В 1972 году в Москву приехал молодой поляк от Гедройца и привез мне 2-й русский номер (первый, я, по-моему, увидела уже за границей). Кто-то привез мне еще один экземпляр. Эти два экземпляра «Культуры» все время были на руках, я уезжала в эмиграцию — они там остались, так что у них было заведомо несколько сот, если не тысяч читателей. От моего друга-полониста Сергея Ларина, дружившего с Ханной Краль, я получила сборник документов и материалов «Мартовские события» о студенческих волнениях 1968 года.

В Париже я, конечно, мечтала встретиться с Гедройцем. Но ехала я в «Континент». О планах Максимова насчет «Континента» — названия журнала еще не было — я знала еще в России. Незадолго до своего отъезда Максимов мне сказал при случайной встрече: «Мне предлагают издавать журнал, но я не хочу издавать еще один журнал русской эмиграции. Я хочу, чтобы это был орган всей восточноевропейской эмиграции».

К моменту моего приезда «Континент» существовал больше года (я до отъезда успела в Москве прочитать первые пять номеров). Я знала, что Гедройц, Чапский и Герлинг-Грудзинский входят в редколлегия «Континента», видела, что там много польских материалов, знала, что «Континент» уже сотрудничает с «Культурой». Как известно, Солженицын сказал Максиму: «Идите в «Культуру», они вас научат». И Максимов до самой смерти продолжал с ними дружить.

Хорошо известно, что основная линия «Культуры» определялась — скажем условно — доктриной Гедройца—Мерошевского: в будущем, когда Польша будет свободной и Россия будет свободной, нужно чтобы Украина, Литва и Белорус-



сия тоже были свободны. Когда они будут свободны и независимы, Польша с Россией лишится главной причины своего конфликта. У них была мысль о независимых силах внутри Советского Союза, причем в первую очередь русских. Это было очень важно. Они находили любые проявления оппозиционности, начиная с того, что «Культура» первой напечатала Терца и Аржака (по-русски!). В 1961-м они выпустили сборник материалов — 1-й номер «Культуры» по-русски, в 1972 году — следующий, а в 1981-м — третий, в работе над которым я уже принимала участие.

Они напечатали много русских писателей. И вдруг появился Максимов с идеей объединения — это, я думаю, было очень близко «Культуре». Три ее столпа сразу вошли в редколлегию, постоянно следили за тем, что печатается в «Континенте». Гедройц регулярно писал письма Максиму. Он очень хорошо понимал по-русски, но стеснялся говорить. По-моему, одно письмо он сам написал по-русски, иногда кто-то ему переводил в редакции, а иногда он писал по-польски (и тогда я Максиму переводила). Бывали между ними и конфликты, но каждый раз все улаживалось.

Начав работать в «Континенте», я стала искать в номерах «Культуры» или в книгах, изданных «Культурой», что-нибудь для публикации в «Континенте» по-русски. Многие материалы предлагал нам сам Гедройц, а я их переводила. Так, по предложению Гедройца я перевела целиком (он был напечатан в четырех номерах «Континента») роман Казимежа Орлоса «Дивная малина». Помню, Татьяна Максимовна Литвинова сказала мне, прочитав роман: «Ой, Наташка, а я-то думала, что у них в Польше лучше». Вся остальная Польша, кроме двух городов, Варшавы и Кракова, была почти как советская Россия. Хотя, конечно, когда в 1981 г. в Польше были бунты и забастовки из-за того, что снизили норму мяса, а у нас в провинции мяса вообще не видели, мне это объяснять по радио русскому слушателю было очень трудно.

От «Культуры» мы очень быстро получили первый номер «Информационного бюллетеня» КОРа (Комитета защиты рабочих). Я его перевела целиком, и он был напечатан в «Континенте» под заголовком «Первый выпуск польской «Хроники»» (имеется в виду «Хроника текущих событий»).

В 1980 году приближалось сорокалетие Катыни, и я делала большую серию радиопередач (см. мои статьи в «Новой Польше», 2005, №№3 и 4), а потом печатала их в «Русской мысли». И Гедройц

мне сказал: «А давайте мы эти ваши тексты напечатать в «Зешитах хисторичных»» [«Исторических тетрадах», ежеквартальном журнале, выходившем в «Институте литератком» (издательстве «Культуры») и продолжающем выходить по сей день, уже после того, как прекратила свое существование сама «Культура»]. Я говорю: «Пан Ежи, я все пишу по польским материалам, все это уже напечатано». У меня было такое впечатление, что Гедройц даже обиделся, но все это, и правда, были почти одни цитаты или пересказы документов, неизвестных русскому читателю, которому, на мой взгляд, было очень нужно все это узнать.

Не помню точно, когда я впервые поехала в Мезон-Лаффит — наверное не сразу по приезде, потому что приехала с двумя детьми, мне надо было устраиваться, получать беженские документы, искать работу, искать квартиру. Мне предложили внештатную работу на радио «Свобода», чтобы я могла делать переводы. Я решила назвать свою программу «Восточноевропейские свидетельства». Первую передачу я делала о чешском журнале «Сведецтви», у которого заимствовала главное слово в названии своей программы, а вторую — о «Культуре». И тут меня в первый раз цензурировали на радио «Свобода». Там была американская цензура, т.н. Policy Service: американцы боялись испортить отношения с Советским Союзом. «Брюсселец» (Леопольд Унгер, тот самый, которому уже сейчас, в 2006 г., запретили въезд в Россию!), постоянный политический обозреватель «Культуры», в связи с Хельсинским соглашением привел слова американского президента Форда, сказанные перед поездкой в Хельсинки в августе 1975 года. Президент тогда сказал, что США никогда не признавали и не признают аннексию Литвы, Латвии и Эстонии. Я это привела как двойную цитату (слова президента Форда из статьи в «Культуре»), и американцы меня — да не меня, а собственного президента! — цензурировали. Кстати, одной из первых статей, которые я переводила с польского (нам ее дал Гедройц), была статья Яна Новака-Езеранского «Открытое письмо Александру Солженицыну», где он объяснял, почему ушел с радио «Свободная Европа»...

Я и по сей день дружу со многими поляками, с которыми познакомилась в Париже. Мой самый любимый, после покойного Виктора Ворошильского, польский друг — вышеупомянутый Мирослав Хоецкий (основатель первого крупного польского независимого издательства НОВА). В 1981 г.



он привез в Европу выставку, а тут объявили военное положение, и ему пришлось остаться. В 1986 г. Мирек Хоецкий у себя в «Контакте» напечатал (по-русски) два сборника моих стихов. А не так давно он мне напомнил, что название «Контакт» для их журнала я придумала.

В парижском комитете «Солидарности», одним из основателей которого был Хоецкий, я получала массу подпольных изданий, что позволяло мне делать в «Русской мысли» такие обзоры положения в Польше, что Герлинг-Грудзинский однажды сказал: «В «Русской мысли» самый лучший в мире польский сервис». Заботился о том, чтобы я их получала, Яцек Кравчик, тогда архивариус комитета, а ныне — «Института литерацкого». Позже из «военной» Варшавы приезжал его младший брат Марек Кравчик, крупный подпольный издатель, — под конец 80-х, когда «Континент» остался без издателя, он печатал нам тираж журнала в Варшаве.

В Париже я познакомилась и с Виктором Ворошильским, с которым до тех пор мы были знакомы только заочно. Он приехал в 1976 году, а после этого его до времен «Солидарности» не выпускали за границу (а потом интернировали и после освобождения опять долго не выпускали — и мы опять несколько лет дружили заочно), приезжала только его дочь Наталья, тогда еще, по-моему, школьница, а теперь тоже замечательный переводчик с русского (знаю это на собственном опыте). О моей дружбе с Виктором Ворошильским см. «Новую Польшу», 2000, №9.

Наконец, в Париже я познакомилась и с Милошем, который всегда, заведя меня еще издавка, заговаривал со мной по-русски, хотя я изо всех сил старалась говорить с ним по-польски.

Поляки часто приходили в редакцию «Континента». Большинство поляков дружило со мной: я говорила по-польски, понимала их и переводила Максимову. Но вот, например, Анка Ковальская, она по-русски вообще не говорила. Она была в Париже в 1980 г., уже после создания «Солидарности», и побывала в «Континенте». Я ее сти-

хи перевела, мы ее напечатали. При военном положении ее интернировали, но потом, так как она была очень больна, ее выпустили в Париж сделать операцию. Она пришла в редакцию «Континента», села в кресло и сказала: «Я как дома». И это относилось не ко мне, говорящей по-польски, а к «Континенту». А когда я уже в двухтысячные годы в первый раз встретила нынешнего посла Польши в Париже Яна Томбинского, он сказал: «Вы знаете, когда я был молодой, я приходил к вам в редакцию «Континента»». И не просто приходил — он участвовал в подпольном издании сборника статей из «Континента» в переводе на польский.

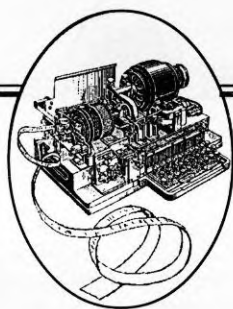
В августе 1988 г. я приехала в Польшу на Международную конференцию по правам человека в Кракове. Я прилетела в Варшаву за неделю до открытия конференции, ровно в тот день, когда начались большие забастовки, а Владимир Буковский — очень занятый человек — решил приехать в последний момент, прямо в Краков. Когда он выходил из дома, чтобы ехать в аэропорт, он вынул из почтового ящика письмо из польского посольства с сообщением, что его виза аннулирована. Моя статья о первом пребывании в Польше по-русски была напечатана в «Континенте», а по-польски — в «Культуре».

Когда я думаю о своем «польско-русском» прошлом, все время возвращаются три названия: «Культура», «Континент», «Русская мысль». И три имени: Ежи Гедройц, Владимир Максимов, Ирина Иловайская. Если мне что-то, и даже многое, удавалось сделать для сближения и взаимопонимания поляков и русских, то лишь потому, что все они трое были одушевлены этой идеей сближения и взаимопонимания и предоставляли мне свободу действий. Мое «польско-русское» настоящее — это «Новая Польша», где в лице Ежи Помяновского я нашла продолжателя той же славной традиции.

Итак, не пресловутая «дружба народов», а сближение и взаимопонимание — вот мой рецепт польско-русских отношений.

*Первый вариант этой статьи
в сильно сокращенном и переработанном виде
напечатан по-польски в журнале «Ньюсуик-Польша», май 2005*

Автор благодарит Каролину Зёло: в статье использованы фрагменты расшифрованного ею с магнитофонной ленты интервью со мной.



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• «1 мая исполнится два года со дня расширения Евросоюза. В связи с этим центр изучения общественного мнения ГФК проверил, на что надеются и чего опасаются общества десяти стран, вступивших в ЕС в 2004 году. Неожиданно оказалось, что поляки вовсе не самые недовольные: население Словакии и Латвии видит действительность в еще более черном свете. Поляки, как и другие, ценят тот факт, что 15 старых членов ЕС открывают для нас (пусть даже постепенно) свои рынки труда (...) В то же время мы опасаемся потерять работу у себя на родине. Больше всего распространен страх, связанный с ожидаемым повышением цен (...) Значительная часть опрошенных ожидает также снижения уровня жизни. Неизменно критически оценивается (и в этом мы не исключение) служба здравоохранения» (*«Жечпосполита»*, 21 марта)

• По данным Главного статистического управления (ГСУ), «за первые два месяца текущего года объем розничных продаж увеличился на 9,6%, а в промышленности — на 10,3%. Инфляция продолжает оставаться низкой — в феврале она составила только 0,7%. Приблизительно на столько же поднялись цены производителей. Правда, безработица до сих пор держится на уровне 18% — таком же, как в январе, — но в течение года занятость на предприятиях увеличилась на 116 тыс. рабочих мест, а реальная средняя зарплата была на 2,9% выше, чем годом раньше»» (*«Жечпосполита»*, 24 марта)

• «Почти две трети опрошенных (64%) обращают внимание на отечественное происхождение покупаемых товаров. Чаще всего это случается при покупке продуктов питания, хотя мы охотно приобретаем также польские лекарства и косметику (...) Рост покупательского патриотизма, называемого на профессиональном языке потребительским этноцентризмом, — это верный признак роста благосостояния (...) Снобизм, велевший покупать заграничные марки, заметно уменьшился»» (*Анита Блащак*, *«Жечпосполита»*, 30 марта)

• «Прошло менее двух лет с тех пор, как ирландский рынок труда открылся для поляков, а их приехало уже больше 120 тысяч. Они стали самой многочисленной группой иностранцев: в Дублине они составляют 10% населения. [Президент Ирландии] Мэри Макалис [говорит]: «Приехавшие в Ирландию поля-

ки делают честь своей родине: они прекрасно образованы, трудолюбивы и смелы. Пусть их будет как можно больше»»» (*«Жечпосполита»*, 4 апр.)

• «Работать за границу уехали уже 18 тыс. врачей и несколько тысяч медсестер». (*Первая программа Польского радио*, 7 апр.)

• «Гданьская судоверфь — не единственное место в Польше, где работают невольники из [Северной] Кореи. Только в Поморском воеводстве сварщики, присылаемые пхеньянским режимом, работают в шести крупных фирмах»» (*«Газета wyborcza»*, 24 марта)

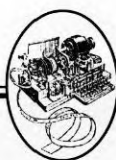
• На вопрос института «Пентор»: «Кто на самом деле правит Польшей?» — 56% опрошенных ответили: избранные в результате свободных выборов политики; 36% — большой бизнес; 21% — СМИ; 15% — международный капитал; 13% — люди с пээнэровским прошлым; 9% — евреи; 8% — спецслужбы. (*«Впрост»*, 2 апр.)

• Согласно опросу ЦИОМа, действия президента Леха Качинского положительно оценивает 41% поляков, а отрицательно — 37%. В случае Сейма эти цифры составляют соответственно 25 и 62%. (*«Жечпосполита»*, 21 марта)

• «По случаю приближающегося праздника Пасхи президент Лех Качинский впервые прибыл в Ирак. Он пожелал посетить наш военный контингент, участвующий в стабилизационной миссии»» (*«Жечпосполита»*, 7 апр.)

• «В июне министерство национальной обороны отправит в Конго в пять раз больше солдат, чем было запланировано (...) В Африке они будут поддерживать порядок во время выборов (...) За границей служит в общей сложности 2,2 тыс. польских солдат. Больше всего (почти 900) — в Ираке. В Ливане и Сирии в составе войск ООН служит около 600 поляков. Контингенты в Косове и Боснии насчитывают в общей сложности 600 человек. В Афганистане дислоцируются 105 военных (этот контингент будет увеличиваться). Самый малочисленный контингент находится в Литве, где служат 70 солдат и офицеров ВВС»» (*«Жечпосполита»*, 29 марта)

• «В полночь с пятницы на субботу четыре польских МиГ-29 закончили свое трехмесячное дежурство в небе над Литвой, Латвией и Эстонией (...) По словам литовского министра обороны Гедиминаса Киркиласа, миссия контингента «Орлик» (под та-



ким названием была известна в широких кругах польская патрульная миссия в небе над тремя странами) прошла лучше всех предыдущих. Неофициально мы узнали, что за время польского дежурства не было ни одного случая нарушения воздушного пространства российскими самолетами, хотя во время предыдущих дежурств американцев, голландцев и немцев это случалось регулярно». (*«Газета выборча»*, 1-2 апр.)

• «Войцех Ярузельский награжден Крестом Сибирских ссыльных (...) «Я рад, что президент оказался выше разделяющих нас противоречий», — сказал Ярузельский (...) Крест Сибирских ссыльных был учрежден для награждения поляков, депортированных в Сибирь, Казахстан и на север России в 1939-1956 гг., за их мужество и верность идеалам свободы и независимости». (*«Жечпосполита»*, 29 марта)

• «Войцех Ярузельский вернул президенту Леху Качинскому Крест Сибирских ссыльных и удостоверение к нему. «Я узнал, что подпись на врученном мне удостоверении оказалась там без Вашего ведома и вопреки Вашей воле, — написал Ярузельский в письме президенту. — Искренне сожалею, что возникшая ситуация могла причинить Вам неприятность» (...) «Президент с пониманием отнесся к решению генерала Ярузельского, и таким образом инцидент можно считать исчерпанным», — заявил начальник Канцелярии президента Анджей Урбанский». (*«Жечпосполита»*, 31 марта)

• «В 1940 году генерал [Ярузельский] был сослан вместе с семьей в Алтайский край, где работал на лесоповале». (*«Газета выборча»*, 31 марта)

• Архиепископ Тадеуш Гоцловский: «Хоть я и не испытываю симпатии к господину Ярузельскому, мне кажется, что он поступил благородно, достойно. Хорошо, что он отдал [орден] и не желает иметь с этим ничего общего». (*«Газета выборча»*, 1-2 апр.)

• «В пятницу премьер-министр Казимеж Марцинкевич отправил в отставку Яна Турского, возглавлявшего Управление по делам ветеранов и репрессированных. Именно из этого управления поступило предложение наградить генерала Ярузельского Крестом Сибирских ссыльных». (*«Жечпосполита»*, 1-2 апр.)

• «5 апреля 1989 г. завершились заседания «круглого стола». Сегодня легко критиковать принятые тогда решения, но не будем забывать, что 17 лет назад на территории Польши стояли советские войска, которые вовсе не собирались отсюда уходить (...) Потом была «бархатная революция», распад советского блока и в конце концов самой империи. Этот процесс начался именно тогда, за круглым столом». (*Мацей Росоляк, «Жечпосполита»*, 5 апр.)

• «Институт национальной памяти (ИНП) обвинил генерала Войцеха Ярузельского в коммунистическом преступлении — руководстве вооруженной преступной организацией. Кроме того Ярузельский обвиняется в том, что 13 декабря 1981 г. он подстрекал членов Государственного совета ПНР (который формально ввел военное положение) к превращению полномочий путем принятия декретов о военном положении, датированных 12 декабря, — во время сессии Сейма ПНР и вопреки конституции». (*«Тыгодник повсехний»*, 9 апр.)

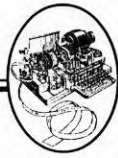
• «Иногда отсутствие милосердия причиняет острую боль. Людей (за исключением разве что циников) нельзя преследовать за ошибки, исправленные историей», — сказал примас Польши кардинал Юзеф Глемп в проповеди во время литургии на варшавской площади Юзефа Пилсудского, где в 1979 г. Иоанн Павел II (...) произнес исторические слова: «Да снизойдет Дух Твой и обновит лицо земли! Этой земли!» (*«Газета выборча»*, 3 апр.)

• «На стене дома №2 по ул. Сверща во Влохах [район Варшавы] установлена мемориальная доска в память о жертвах коммунистических репрессий, сидевших в подвалах этого здания в 1945 году (...) В этом же доме находился кабинет печально известного генерала НКВД Ивана Серова (...) Мрачная история раскрылась лишь в 90-х годах, после того как здание было возвращено частным владельцам, которые обнаружили на стенах подвала нацарапанные узниками надписи. О своей находке они сообщили в ИНП». (*«Газета выборча»*, 29 марта)

• «Не может быть безопасной и зажиточной Польши, если нет безопасной и зажиточной России. Сдвинутая на обочину или сама отталкивающая других, закрывая для мира, нестабильная, сотрясаемая внутренними конфликтами Россия смертельно опасна для Польши. Политика, направленная против демократической, богатой, связанной с Европой крепкими культурными, экономическими и политическими узами России была бы для Польши безумной и самоубийственной. Поэтому подозрения, что политическая линия польского государства может быть антироссийской, абсурдны. Россия с крепкой демократией, гражданским обществом и открытой рыночной экономикой — для поляков ничуть не меньшая ценность, чем для граждан России». (*Анджей Йонас, «Одра»*, март)

• «Режим Лукашенко усиливает репрессии против поляков. Нападкам подвергаются даже наши дипломаты. Польский МИД вызвал белорусского посла и приостановил работу польского консульства в Гродно». (*«Жечпосполита»*, 28 марта)

• «МИД сообщил, что Польша ввела визовые ограничения для лиц, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и репрессии против оп-



позиции. Кроме того, МИД предложил ЕС тоже ввести визовые санкции по отношению к вышеперечисленным категориям лиц. На европейском форуме МИД будет поддерживать «идею замораживания счетов лиц, ответственных за нарушение элементарных гражданских свобод» в Белоруссии». (*«Газета выборча», 28 марта*)

• «Александра Милинкевича принимали в Польше как главу государства. Утром он беседовал с маршалом Сейма Марекком Юреком и вице-маршалом Брониславом Коморовским. Милинкевич поблагодарил их за поддержку, оказанную поляками белорусской оппозиции (...) Затем (...) его принял президент Лех Качинский (...) Во второй половине дня лидер белорусской оппозиции (...) встретился с депутатами «Права и справедливости» (ПиС) и «Гражданской платформы» (ГП, с которой он подписал декларацию о сотрудничестве), а также с маршалом Сената Богданом Борусевичем (...) Главным результатом визита стало соглашение между правительством и ректорами нескольких польских вузов, благодаря которому еще в этом году 300 белорусских студентов, исключенных за оппозиционную деятельность, получают стипендии в польских учебных заведениях». (*«Жечпосполита», 31 марта*)

• «В пятницу белорусское правительство отозвало своего посла из Варшавы. «Посол Павел Латушко был отозван в Минск на консультации», — заявил пресс-секретарь белорусского МИДа». (*«Газета выборча», 1-2 апр.*)

• «В ночь со среды на четверг в белостокской больнице умер вице-консул Польши в Гродно Рышард Бадонь-Лер. Две недели назад работники польского консульства нашли 64-летнего дипломата лежащим без сознания в его гродненской квартире. Из местной больницы он был перевезен на скорой помощи в Белосток. Там врачи обнаружили у консула внутричерепную гематому. Несмотря на операцию он так и не пришел в сознание (...) Ушибы указывают на возможность избиения». (*«Газета выборча», 7 апр.*)

• «Вчера белорусские власти неожиданно освободили бывшего посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича, который был арестован и избит 24 марта в ходе ликвидации в Минске палаточного городка оппозиции (...) Через пять дней после ареста Машкевич был переведен в больницу, откуда после выздоровления должен был вернуться в тюрьму. Однако его выпустили на свободу». (*«Газета выборча», 8-9 апр.*)

• «Украина ввела запрет на ввоз польского мяса по настоянию российского правительства. Украина уступила, так как рассчитывает на возобновление своего экспорта в Россию (...) В начале марта прошли российско-украинские переговоры. Вскоре после это-

го Украина направила в Варшаву предупредительное письмо и не ответила на наше предложение о переговорах. Запрет на экспорт в Россию мяса, сыра и масла слишком важен для Украины, чтобы она не уступила требованиям россиян». (*Кристина Нашковская, «Газета выборча», 28 марта*)

• «Уже второй раз со времени своего вступления в должность президент Лех Качинский посетил Украину. В субботу он приехал на несколько часов во Львов, где принял участие в литургии в честь 350-летия обетов короля Яна Казимира, который препоручил занятую шведами Польшу покровительству Богородицы. Выступая в католическом кафедральном соборе, президент выразил надежду на скорое вступление Украины в НАТО, а затем и в Евросоюз». (*«Газета выборча», 3 апр.*)

• Из интервью Ярослава Качинского агентству Рейтер: «Право и справедливость» будет и впредь вести проевропейскую и прорыночную политику, даже если придется поделиться властью с группировками, которые считаются антиреформаторскими (...) В случае реконструкции правительства курс внешней политики не изменится (...) Не будет такой политики, которая могла бы привести к падению злотаго. Мы не намерены лишать национальный банк самостоятельности, хотя не исключаем некоторого переопределения его задач». (*«Газета выборча», 27 марта*)

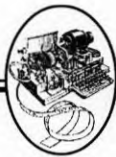
• «Вопрос досрочных выборов возвращается как бумеранг (...) «Невозможно управлять Польшей, пока продолжается непрекращающийся скандал», — сказал вчера Ярослав Качинский». (*«Жечпосполита», 17 марта*)

• Ярослав Качинский: «Мы — не антиинтеллигентская партия, но в какой-то момент мы пришли к выводу, что базу для перемен, которые, по нашему мнению, совершенно необходимы, надо искать в другом месте». (*«Политика», 25 марта*)

• «Распался стабилизационный пакт между ПиС, «Самообороной» и «Лигой польских семей» (ЛПС), [которая] заявила о намерении уйти в оппозицию». (*«Тыгодник повшехний», 2 апр.*)

• «[Досрочных] парламентских выборов в мае не будет (...) Вчера Сейм отклонил предложение ПиС о самороспуске. Для принятия этого предложения не хватило 101 голоса». (*«Жечпосполита», 7 апр.*)

• Согласно опросу ГфК «Полония», если бы выборы прошли в середине марта, за ГП проголосовали бы 35% избирателей (что дало бы ей 208 мест в Сейме), за партию Ярослава Качинского — 29% (170 мест). Кроме них в Сейм вошли бы еще только две партии: Союз демократических левых сил (СДЛС) с 8% голосов (48 мест) и «Самооборона» с 6% (32 места). Ни ЛПС, ни аграрная партия ПСЛ не преодолели



бы пятипроцентный избирательный барьер. За них намерены голосовать по 2% опрошенных. (*«Жечпосполита»*, 22 марта)

- Из открытого письма, подписанного восемью польскими евродепутатами: «Развернутая коалицией «Прав и справедливости», «Самообороны» и «Лиги польских семей» кампания против Лешека Бальцеровича, в которой принимают участие высшие государственные органы власти, угрожает польской экономике, вредит польской общественной жизни и портит образ Польши в Европе (...) Обнародованная на днях позиция Европейского центробанка стала драматическим откликом на такое положение дел». (*«Жечпосполита»*, 15 марта)

- Лешек Бальцерович: «Я говорю прямо, высказывая свое мнение относительно тех начинаний, которые сейчас обсуждаются и ставятся на голосование (...) Я говорю как человек, который уже 17 лет участвует в строительстве правового государства, дающего и защищающего свободу (...) Иногда я говорю эмоционально, так как речь идет об очень важных вещах (...) Предложение создать следственные комиссии — это злоупотребление конституцией (...) В Польше еще никогда никому не приходило в голову создавать следственную комиссию по изучению деятельности Польского национального банка. Такой политики никогда не было ни в одной цивилизованной стране». (*«Газета wyborcza»*, 16 марта)

- Из открытого письма 66 профессоров экономики со всей Польши: «Мы протестуем против организованной политикой ПиС, ЛПС и «Самообороны» травли независимых банковских институтов и президента ПНБ профессора Лешека Бальцеровича (...) Безосновательные сомнения, которым некоторые партии подвергают законность действий и эффективность польского банковского надзора, подрывают доверие к Польше в ЕС». (*«Газета wyborcza»*, 18-19 марта)

- «Парламент создал банковскую следственную комиссию (...) «Это хороший день для Польши», — считает ПиС. «Это покушение на независимость центробанка», — говорит Лешек Бальцерович (...) «Я должен добиться того, чтобы он [Бальцерович] ушел», — говорит Анджей Леппер». (*«Жечпосполита»*, 25-26 марта)

- «Ученый совет Колледжа экономического анализа [Главной торговой школы] выражает глубокую обеспокоенность и решительный протест в связи с политической кампанией против профессора Лешека Бальцеровича (...) Считаю нужным предупредить, что ставить под сомнение независимость ПНБ и банковского надзора — одной из основ банковской системы в современном мире — опасно для функционирования польской экономики (...) Мы возмущены уровнем дискус-

сии, которая выходит за рамки приличий. Мы хотим, чтобы для наших студентов, как и для нас, слово «парламентский» было синонимом умеренности и элементарной порядочности». Письмо подписали 29 членов ученого совета. (*«Жечпосполита»*, 30 марта)

- «Председатель Польского национального банка Лешек Бальцерович стал членом Группы авторитетов Института международных финансов (Group of Trustees, Institute of International Finance), созданной на встрече в Цюрихе». (*«Жечпосполита»*, 4 апр.)

- По мнению Ярослава Качинского, «относиться к [Конституционному] суду как «к группе мудрецов, не подлежащих никакой критике» — это просто недоразумение. Председатель ПиС добавил, что состав суда и политические связи судей должны стать предметом открытой дискуссии. Так Качинский отреагировал на отмену Конституционным судом нескольких статей закона, принятого в конце прошлого года голосами ПиС, «Самообороны» и ЛПС». (*«Жечпосполита»*, 24 марта)

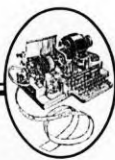
- «Ни президент, ни премьер, ни маршалы Сейма и Сената не явились на ежегодное собрание судей Конституционного суда, нарушая тем самым двадцатилетнюю традицию. Пресс-секретарь президента заявил, что одной из причин отсутствия Леха Качинского было его критическое отношение к решению суда по дополнениям к закону о СМИ». (*«Тыгодник повсехний»*, 16 апр.)

- Министр иностранных дел Стефан Меллер: «Государство, как и человек, переживает потрясения как от слов, так и от действий — или их отсутствия». (*«Жечпосполита»*, 1-2 апр.)

- Ярослав Качинский: «Газета wyborcza» — это поздня, мутировавшая форма компартии Польши (...) Чем слабее «Wyborcza», тем лучше для Польши». (*«Ньюсуик-Польша»*, 26 марта)

- Сначала политики «Прав и справедливости» подвергли нападкам юристов, потом хотели создать комиссию Сейма по расследованию деятельности СМИ начиная с 1990 г. и наконец атаковали Бальцеровича. Согласно опросу Лаборатории социологических исследований, в споре ПиС с юристами 41% поляков поддерживает ПиС, а 30% — юристов; в споре с СМИ 22% считают, что права ПиС, а 52% — что СМИ; в споре с Бальцеровичем ПиС получила 40% поддержки, а Бальцерович — 30%. (*«Газета wyborcza»*, 16 марта)

- «Профсоюзные активисты «Солидарности» разных уровней шлют премьеру, президенту и министрам письма, в которых сообщают, кто навлек на себя их недовольство и должен быть уволен. Как правило, они добиваются своего (...) Директора предприятий, которым удалось купить расположение профсоюзников, часто стараются получить от них



охранные грамоты. Тогда профсоюзники пишут министру: это прекрасный менеджер, он обеспечивает фирме развитие, благодаря ему царит социальное спокойствие и т.п. (...) Этим следует объяснять поразительные зигзаги кадровой политики на государственных предприятиях. Часто люди, которые считаются хорошими менеджерами и могут похвастаться неплохими экономическими показателями, с треском вылетают с работы, а другие, с сомнительной квалификацией, остаются на своих должностях». (Адам Гжесяк и Рышард Соха, «Политика», 18 марта)

• Координатор по делам спецслужб Збигнев Вассерман: «В прошлом году по сравнению с 2004-м число подслушивающих устройств, установленных Управлением внутренней безопасности (АВБ), Управлением разведки и Военной информационной службой (ВИС), увеличилось на 20-30%». («Газета wyborcza», 24 марта)

• Тадеуш Мазовецкий, первый некоммунистический премьер-министр Польши (1989-1990): «ПиС хочет иметь не только парламентское большинство, но и влияние на всю публичную жизнь, контролируя те ее сферы, которые в демократии — системе ограниченной власти — находятся вне пределов досягаемости правительства. Это показывает борьба с Конституционным судом и ПНБ». («Ты-годник повзвешный», 26 марта)

• Тадеуш Мазовецкий: «Во всех стремительно множатся сегодня кризисах, начиная со СМИ и кончая банками, мы имеем дело с запугиванием. Оказывается, всегда можно создать следственную комиссию (...) Для судьбы польской демократии необыкновенно важно противодействовать согласию общества со все более низкими стандартами публичной жизни». («Газета wyborcza», 25-26 марта)

• Проф. Норман Дэвис: «В Польше нет недостатка в демократии, понимаемой как институт, но, пожалуй, ей недостает определенной демократической культуры, которая должна проявляться в функционировании институтов. Конечно, демократия может существовать и без культуры — даже на островах людоедов. Его граждане проголосуют за то, чтобы провозгласить людоедство официальным государственным строем, а после выборов правящая партия съест оппозицию. И дело с концом. Этот пример показывает, что политическая культура — не дополнение к демократии, а ее суть». («Ньюс-уик-Польша», 9 апр.)

• «Сегодня наше членство в ЕС — это гарантия того, что безумства политиков не будут влиять на экономику. Сложившаяся практика свидетельствует о том, что, несмотря на множество опасений, ПиС не желает войны с Брюсселем». (Павел Яблонский, «Жечпосполита», 18-19 марта)

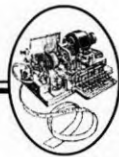
• «Иоанн Павел II напомнил нам слова св. Павла: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Эти слова были произнесены почти 14 лет назад, но и сегодня остаются все так же актуальны. Я напоминаю вам их в канун Великого четверга в контексте завещания Иоанна Павла II с огромной просьбой о примирении и взаимном прощении, повторяя вслед за св. Павлом: «Любовью служите друг другу»», — так завершил свою проповедь кардинал Дзивийш (...) После мессы (...) он объяснил, что этот призыв особенным образом обращен к политикам, ибо «поляки гораздо более едины, чем политики» (...) «Надеюсь, что этот призыв архиепископа Краковского найдет хоть какой-то отклик у наших политиков», — сказал после мессы президент Лех Качинский». («Жечпосполита», 3 апр.)

• «Несколько сот человек участвовали в воскресенье в Марше памяти в 63-ю годовщину ликвидации краковского гетто (...) Участники марша завершили свой путь на территории бывшего лагеря в Плашове, где они почтили память краковских евреев, уничтоженных нацистами». («Жечпосполита», 13 марта)

• «Белостокский ИНП возбудил дело о преступлении в Вонсоше (...) По свидетельствам очевидцев, ночью 5 июля 1941 г. полтора десятка жителей Вонсоши убили более ста местных евреев». («Жечпосполита», 13 марта)

• «Фонд Рышарда Краузе купил и передал в собственность Краковской архиепархии дом в Вадовице, в котором родился и на протяжении 18 лет жил Кароль Войтыла. В доме, как и прежде, будет находиться музей Иоанна Павла II (...) В 1911 г. двухэтажный дом на Костельной улице в Вадовице купили Розалия и Иехиель Баламуты. В 1919 г. отец будущего Папы снял у еврейской семьи две комнаты и кухню (...) Иехиель Баламута, его жену и трех дочерей убили нацисты в лагере Белжец. Из всей семьи выжили только двое детей: Пепа, которая еще до войны уехала в Палестину, и Хаим, который добрался до СССР, попал в лагерь, а в дальнейшем выехал в Израиль (...) В 1999 г. покойного Хаима Баламута вспоминал на вадовицкой Рыночной площади Иоанн Павел II. После этого сын Хаима Рон побывал у Папы в Ватикане. По окончании процесса о наследстве (...) он решил продать дом, в котором с 1984 г. находится папский музей». («Жечпосполита», 1-2 апр.)

• «Уже 16 лет как мы живем в свободной Польше (...) И вот спустя 16 лет в Польше существует радио «Мария», которое в своих политических программах пропагандирует ксенофобию, шовинизм и антисемитизм (...) Премьер-министр, маршал [Сейма], министры и некоторые депутаты выступают в эфире этой радиостанции, что повышает ее ранг, вызывает к ней доверие и создает впечатление,



будто государство солидаризуется с политической линией радио «Мария» (...) Я обращаюсь к Вам, господин премьер-министр и господин маршал, с просьбой предпринять шаги, которые положат конец идеологии, распространяемой радио «Мария» в ее политических передачах, вплоть до закрытия радиостанции (...) чтобы в свободной Польше все граждане, независимо от пола, вероисповедания и национальности, были равны и чувствовали себя как дома, а свобода слова соблюдалась до тех пор, пока она не угрожает демократии. Марек Эдельман». Автор открытого письма — последний оставшийся в живых предводитель восстания в варшавском гетто 1943 года, кавалер ордена Белого Орла. (*«Жечпосполита», 6 апр.*)

• Согласно опросу Лаборатории социологических исследований, 70% поляков отрицательно оценивают факт частых выступлений политиков ПиС, включая премьер-министра и министров, в эфире радио «Мария». 15% относятся к этому явлению положительно. (*«Газета wyborча», 8-9 апр.*)

• Из письма председателю Епископской конференции Польши: «Уже долгое время Апостольский Престол пристально наблюдает за деятельностью в Польше радиостанции «Мария» (...) От внимания Апостольского Престола не ускользнуло участие радио «Мария» (...) в политических спорах (...) Поэтому Апостольский Престол настоятельно просит польских епископов согласованными действиями преодолеть нынешние трудности, порожденные некоторыми передачами и взглядами радио «Мария» (...) Передавая эти рекомендации, я убедительно прошу и настаиваю, чтобы Епископская конференция Польши объединила свои усилия и последовательно выполнила свой папский долг (...) подвергая решительной проверке папский аспект деятельности этой радиостанции и других связанных с ней средств массовой информации. Юзеф Ковальчик, апостольский нунций». (*«Газета wyborча», 7 апр.*)

• «В городах тает снег, из-под которого уже показались нечистоты. Размокшие собачьи кучи лежат на газонах и даже на тротуарах, так что нельзя ни пройти, ни взглянуть. Удастся ли когда-нибудь решить эту омерзительную проблему?» (*Агнешка Незгода, «Политика», 1 апр.*)

• «В Польше птичий грипп больше всего коснулся кошек, хотя пока ни одна из них не заразилась вирусом H5N1. Там, где обнаружены очаги болезни, хозяева кошек массово пытаются отдать их в приюты». (*«Ньюсуик-Польша», 26 марта*)

• «В центре Торуня в закрытой клетке на берегу Вислы сидят почти сто лебедей. В стае обнаружен птичий грипп. Ветеринары хотят уничтожить птиц, но лебеди — охраняемый вид. Министерство охраны окружающей среды (...) не знает, как поступить». (*«Политика», 25 марта*)

• «В ночь с понедельника на вторник 32 лебедя, зараженных вирусом птичьего гриппа и изолированных в вольере (...) на берегу Вислы в Торуня, были убиты внутримозговыми инъекциями». (*«Жечпосполита», 4 апр.*)

• «Решение уничтожить лебедей принял главный ветеринарный врач д-р Кшиштоф Яжджевский (...) Министерство охраны окружающей среды не давало согласия на уничтожение стаи. Теперь дело врача разбирает Торунская прокуратура. Проблемы могут возникнуть и у самого министра Яна Шишко, который знал о намерениях ветеринаров (они консультировались с ним свой план), но не сделал ничего, чтобы их остановить». (*«Политика», 15 апр.*)

• Ольга Токарчук, писательница: «Вчера в теленовостях показали маленькие портативные газовые камеры, в которых помещается полтора десятка птиц. «Для каждого хозяйства», — расхваливал устройство диктор. Есть и камеры побольше — для птицеферм. Одновременно в них можно посадить от нескольких десятков до нескольких сотен птиц. Газовые камеры выглядят как мусорные контейнеры. Птиц бросают туда через расположенное сверху отверстие, потом закрывают клапан и пускают отравляющий газ. В комплекте прилагаются также специальные щипцы, с помощью которых мертвых птиц вынимают, после чего отдают в утилизацию (...) Проблема животных выявляет нечто страшное и темное, что таится в глубине человеческого ума, но может в любой момент выйти наружу: отсутствие элементарного сочувствия, бездумную жестокость, самоубийственную уверенность в том, что мы, люди, отделены от других живых существ. Что мы особенные, религиозно и экзистенциально привилегированные». (*«Ньюсуик-Польша», 19 марта*)

• Во вторник 4 апреля на Сальваторском кладбище в Кракове был похоронен Станислав Лем. Перед похоронами священник Ян Анджей Клочовский размышлял: «Я спрашиваю себя, поступаю ли я честно, молясь на похоронах неверующего человека? Честно ли я поступаю в отношении Станислава Лема? Ключ я нашел в стихотворении Тадеуша Ружевиша, который говорит: «Неважно, что Ружевиш думает о Господе Боге, важно, что Господь Бог думает о Ружевише». Таким образом мы хотим показать Господу Богу все то хорошее, что оставил нам Лем». (*«Газета wyborча», 5 апр.*)



ФИЛОСОФ САРМАТОВ

*Беседа с отцом Ярославом Ягелло,
одним из ближайших учеников Юзефа Тишнера*



Юзеф Тишнер

В начале мая толпа под актовым залом Ягеллонского университета традиционно означает начало Тишнеровских дней. Эти философские встречи, посвященные памяти известного философа и священника о. Юзефа Тишнера, проводятся в Кракове уже в пятый раз. Толпы — их постоянный спутник. Собираются профессора, со всей Польши едут студенты, заходят и просто верующие, помнящие о. Юзефа по проповедям в церкви. Юзеф Тишнер был ближе, чем кто бы то ни было, к самой польской истории. Его называли капелланом «Солидарности»: именно он, автор «Этики солидарности», стал главным проповедником ее идей. Он вдохновлял в годы пэнэровского отчаяния, предостерегал, когда верх брал слепой энтузиазм, утешал, разрешал сомнения, ставил трудные вопросы, заставлял думать. Он был человеком диалога: разговаривал, исповедовал, дружил, с легкостью давал свой номер телефона, помогал решать конкретные проблемы. Его философские тексты забыть так же трудно, как и его проповеди. В них — точные ответы на вопросы, мучившие многих. Самые известные из этих книг раскрывают фи-

лософию драмы, благодаря которой Тишнер стал известен во всем мире. О философе драмы и певце солидарности я разговариваю на Тишнеровских днях с одним из его последователей, о. Ярославом Ягелло.

— Вы — ученик Тишнера. Будучи при смерти он просил вас продолжать его самые, наверное, важные лекции по философии драмы. Что значило быть его учеником? Быть слушателем, единомышленником, коллегой, другом?

— Сфер нашего ученичества было несколько. Конечно, была философия. Я познакомился с Тишнером в конце 70-х, на его лекциях. Это были лекции в Краковской семинарии, но потом я ходил и в Папскую богословскую академию, и в Ягеллонский университет. После лекций вокруг Тишнера собирались студенты. Они задавали вопросы из области философии, но иногда спрашивали и о последних событиях. Тишнер был современным мыслителем, современность интересовала его как философа, священника и человека. Мы провожали его по Плантам до дому. Потом, до конца его жизни, мы так и ходили за ним верно, как овцы за пастухом. Он нас не гнал. Множество вопросов с ним можно было решить, например, по телефону. В 80-е, когда он занялся этикой солидарности, ему приходилось все время ездить, и телефон оказывался часто единственной возможностью поговорить. Были и личные встречи. Перед ним можно было просто выговориться, я тому живой пример. После диплома, который я писал под его руководством (вот тоже какое-то определение ученичества, не правда ли?), я не знал, как определиться со своим будущим. Тишнер устроил мне стипендию в Германии, чтобы я мог подготовить диссертацию. Впрочем, была и третья сфера наших контактов — пастырская. Мы приходили к нему со своими духовными проблемами, ходили в церкви, где он проповедовал.



— Мне кажется, чтобы быть учеником Тишнера, нужна некоторая отвага. Он хотел, чтобы человек летал, но для этого отказался от всех подпорок. Он был против безопасного мышления, безопасной веры. Томизм был «официальной» церковной философией, а он спорил с томизмом. Призывал к предельной открытости человека перед другим человеком. Церковь он тоже критиковал за закрытость...

— Независимость мысли всегда связана с риском. Впрочем, спор с томизмом пришелся на конец 70-х, и он хорошо иллюстрирует плюрализм, который появился в Церкви благодаря кардиналу Войтыле. Войтыла был томистом, преподавал этику в Люблинском католическом университете, где царил томизм. Но у него был дар, которым обладает не всякий ученый: открытость ко всему, что делалось в мире. А в Европе доминировала феноменология, герменевтика, экзистенциализм. В столкновении этих течений не было бы проблемы, если бы в ЛКУ не считали, что томизм — единственный путь к правде. Сам Войтыла позволял ученым получать образование на Западе, что было в духе старой южнопольской традиции. Тишнеру он тоже позволил учиться у Ингардена. Тишнер был символом открытости к новым течениям, пришедшим из Германии, Франции, Италии. Не с Фомой Аквинским спорил Тишнер, а с томистическим христианством, которое приняло окостеневшие формы. Он обнаружил, что в наше время легче говорить о вере языком новой философии, понятным современному человеку. Как вопрошал Хайдеггер: можно ли молиться Богу-субстанции?..

— Но был ли критицизм Тишнера своевременным в период, когда нужно было сосредоточиться на борьбе с коммунизмом, с его атеистическим мировоззрением?

— Разве здесь есть противоречие? Поиск нового философского языка — это был именно путь укрепления веры! При помощи своей философии Тишнер работал над духовным состоянием общества. Общества, которому была навязана чуждая идеология...

— Однако его критика касалась и самой Церкви, в которой «крик возобладал над тишиной», а дисциплина — над заботой о человеке.

— Бывает критика позитивная и негативная. Тишнер никогда не был критиканом, он глубоко верил и всегда был верным сыном Церкви, как подчеркнул Папа Иоанн Павел II в письме, направленном митрополиту Краковскому по случаю похорон Тишнера. Множество людей, в т.ч. и священников, чувствовали это.

— Не требовалась ли отвага и тем, кто хотел прислушаться к его мысли о человеке, которая стояла у истоков всех его рецептов улучшения общественной действительности? Он призывал к полному преодолению страха перед другим, к тому, чтобы не бояться открыть перед ним даже свое уродство...

— Гораздо ужаснее было бы оставаться в состоянии страха, навязанного режимом. Сама мысль об истине как открывании — это старая, античная мысль, впоследствии развивавшаяся, например, Хайдеггером. Но у Тишнера она стала пощечиной тоталитаризму. Правда, Добро и Зло, говорил он, имеют диалогический характер. Тоталитаризм перечеркивает человека, в то время как по-настоящему важен только человек. Тишнер всегда подчеркивал аспект надежды, рождающийся во встрече человека с человеком. Он говорил: «Я хочу быть философом сарматов, я хочу нести им надежду, хочу помочь им жить».

— Что он сказал о надежде такого, что вселило ее в души стольких поляков?

— Он откликнулся на отчаяние тех лет, когда казалось, что все бессмысленно. Что ежедневная жизнедеятельность абсурдна, а будущего нет. Надежда, касающаяся каждого поляка, заключалась, например, в его мыслях о труде. Показать, что труд осмыслен, если он диалогичен, если он перестает быть борьбой (как в марксизме — одни социалистические соревнования чего стоят!), а становится взаимопониманием, — разве это не надежда? Библейские слова «носите тяготы друг друга» — вот что создало весь этос солидарности.

Я прекрасно помню Кельце, мой родной город, в 1981 году. Тишнер приехал туда с циклом лекций. Пришли толпы народа, и он высказал эту свою мысль о «работе над работой», которая впервые появилась в его «Этике солидарности», а потом была использована Иоанном Павлом II в энциклике о труде. Это было нечто совершенно новое. Тишнер обращался к тысяче людей и говорил им, что труд должен быть деятельностью свобод-



ного человека, что трудом создается пространство «дома», а трудящийся человек — это хозяин. Для поляков слово «хозяин» несет особую эмоциональную нагрузку. Хозяин препятствует разрухе, заботится о своей земле, пытаясь вырастить на ней лучшие плоды. И люди шли на свои рабочие места, чтобы пережить общность друг с другом, спрашивая себя: как мы можем достичь взаимопонимания? Я вспоминаю, как некоторые знакомые историки говорили после лекций Тишнера: отныне мы будем по-другому учить истории, мы будем свободны в том, что делаем, а делать станем то, что согласно с нашей совестью.

— *Тишнер описывал состояние духа поляков 70-х как состояние «убежища». В такие убежища люди прятались друг от друга, боясь показать правду о себе, боясь предательства. Он был прав в своем диагнозе?*

— Тишнер заметил, что поляки забились в свой мирок, как эти его «люди из убежища». Он был уверен, что коммунизм воспитал homo sovieticus'a. Этот термин прекрасно передает опустошение, которое произвел в человеке коммунизм. Тишнер говорил о homo sovieticus'e, о человеке «терризованном» (от слова terra — земля), полностью привязанном к земле, к низшим жизненным потребностям, о человеке, который продавался за хлеб и предавал соседа. Но Тишнер понимал и то, что важнее всего — оправдание человека, признание его достоинства.

— *Правда ли, что движение «Солидарность» стало выходом из «убежища», моментом подлинности народа и отдельно го человека?*

— Я был тогда студентом и прекрасно помню это время. Произошло необратимое изменение: после 80-го года поляки уже не могли жить так, как раньше. «Солидарность» принесла надежду на будущее, опыт взаимной преданности, где один человек существует для другого и даже за другого. Нельзя сказать, что ее подготовил Тишнер. Это сделал прежде всего Иоанн Павел II во время своего первого паломничества в Польшу. Но кто мог лучше, чем Тишнер, объяснить людям самое идею солидарности? Стало понятно, что режим падет, но мы не знали, что это случится так быстро.

— *Именно это говорил Тишнер — режим пошатнулся. Его оптимизму верили. И вдруг — военное положение. Что он мог сказать на это? Чем мог утешить?*

— Тогда он произнес знаменитый цикл проповедей в варшавском костеле св. Креста, в этом особо важном, еще со времен разделов, месте для Польши. Он назвал его «На крестных путях истории». Как раз тогда, когда свобода была уничтожена, Тишнер говорил о необходимости внутреннего преобразования в низах общества — о силе солидарности людей, способной противостоять даже самому большому злу.

— *Тишнер тогда часто говорил о страдании, о зле. Интересно, что ответом на зло 81-го года были русские догадки, Достоевский, его Великий Инквизитор.*

— Тишнер анализировал сущность порабощения, используя образ Великого Инквизитора, который хочет полностью завладеть душой человека. Он показывал, как происходит, что желания хозяина становятся желаниями раба, а сохранение жизни становится слишком важным, настолько, что ради него человек отказывается от свободы. Рабство дает комфорт безответственности, Тишнер же учил нас путям ответственности. Эти лекции привлекали огромные толпы, нужно было приходить за час, чтобы занять место. Я тоже так делал.

— *Тишнер говорил, что это национальная черта поляков — «сарматская меланхолия»: оправдание себя через любование своим страданием. Это до сих пор так?*

— Если быть точными, Тишнер говорил о «пугале сарматской меланхолии». Это символ духовной летаргии. Думаю, что это состояние уже отошло в прошлое. И, конечно, не без участия о. Тишнера. Он «будил» людей, потому что твердо знал: человек в духовной летаргии не способен принять свободу. Свободу, которая уже была так близко... Приняли ли мы эту свободу? Сами видите: формально мы демократическая страна, у нас парламент, сенат, президент. Снаружи. А внутри — аферы, ложь... Тем более потрясают слова Тишнера, что пока не уйдет из жизни последний homo sovieticus, демократия будет хромать. Homo sovieticus не способен к демократии. Тишнер не был homo sovieticus'ом и потому мог ей научить. То, чему учил Тишнер и чему учил Папа, не исчезло из душ людей. Время от времени приходит пробуждение.

— *Когда поляки проснулись в последний раз?*



— Наверное, в момент смерти Папы. Пришли ко мне мои коллеги и говорят: куда мы так спешим? Может стоит остановиться, заглянуть, например, к соседу, спросить, не нужна ли ему помощь?.. Это знак пробуждения. Должен сказать, что есть какая-то параллельность в смертях Папы и самого Тишнера. Оба многое сказали своей смертью. Показали, как страдать. Помню, как сейчас: прихожу на лекцию, уже ассистентом Тишнера, и вдруг обнаруживаю, что его нет. Через пару дней узнаю, что он уже после операции рака гортани. Я хотел пойти в больницу, но меня опередило сообщение, что он хочет меня видеть. В больнице я застал его уже у компьютера, кто-то разговаривал с ним о своей защите. Несколько последних лет Тишнер чрезвычайно, ужасно страдал, и не только физически: он потерял контакт с тем, что любил, — с преподаванием. Он до конца жизни «боролся» с Богом, искал смысл этого страдания, пытаюсь, как он говорил еще на лекциях, обратить *ничто* окружающего человека зла в добро. Однажды написал мне на клочке бумаги (он уже не мог говорить), что страдание уничтожает... Смысл пришел к нему в идее Божественного милосердия. В последний раз я видел его за месяц до смерти. На кровати у него с одной стороны лежали четки, а с другой — икона Христа Милосердного.

— *Тишнер учил присматриваться к боли: она многое может открыть, в том числе и пути выздоровления. Спрашивал: какова наша основная боль? Вот и я хотела бы вас спросить: какова сегодня основная боль поляков?*

— Мне кажется, нежелание думать. Если бы мы хотели честно подумать о состоянии нашей демократии, нашей Церкви, то польская действительность была бы уже далеко впереди. Прочитую Норвида: «Боль, что нас мучит, — то, что мы великая нация». Великая нация, но скверное общество.

— *Когда-то, на очередных Тишнеровских днях, профессор Барбара Скарга заметила, что Тишнер говорил о надежде, когда ситуация была безнадежной. Теперь поляки могут бороться за осуществление своей надежды. И что же — его слова уже так не трогают?*

— Тут вы ошибаетесь. Книги Тишнера идут нарасхват, как и книги Иоанна Павла II. Заметьте, не только в 80-е Папа и Тишнер говорили одним языком, но и в 90-е. Однако это был уже другой язык! В 1991 году Иоанн Павел II приехал в Польшу, и вместо того, чтобы радоваться демократии, стал говорить о заповедях. Очень требовательно, повышая голос: тут вы подвели, тут — тоже. То же самое делал и Тишнер. Именно в 90-е от него слышали настоящую критику. Свобода — это не самоволие, это время ответственности, когда нужно взять будущее в свои руки. Так что Тишнер очень современен.

— *Его очень вдохновили слова первой энциклики польского Папы о том, что путь Церкви — человек. Он тогда задавался вопросом, куда этот путь заведет. Так куда же он завел?*

— Во множество мест. Можно говорить об огромном росте уважения к правам человеческой личности, к которому Церковь имеет прямое отношение. И о демократии — ведь это Церковь на протяжении 50 лет будила в поляках жажду демократии... Впрочем, Церковь продолжает оставаться в пути. И мне кажется, что если речь идет о польской Церкви, то реализация папской максимы о человеке как пути — это все еще вопрос будущего.

Беседу вела Мария Рогинская



Свящ. Ярослав Ягелло (1958 г.р.)
— доктор философии, адъюнкт на кафедре антропологии Папской богословской академии в Кракове и преподаватель Высшей духовной семинарии в Кельце, многолетний ассистент Юзефа Тишнера, член программного совета Института мысли Юзефа Тишнера.



Юзеф Тишнер

Перевод Елены Твердисловой

ФИЛОСОФИЯ ДРАМЫ

(Отрывки из книги)

Эмоции лгущего

Я уже говорил о страхе перед истиной. Из страха перед ней мы ищем спасение во лжи. Ложь становится надеждой для убийцы. Ложь обращена к внешнему, к иным. Ложь, обращенную к внешнему, сопровождает внутренняя правда. Чем сильнее потребность обмана, тем ярче сознание правды. Я — убийца. Можно ли это хоть как-то оправдать? Это оправдание должно быть универсально важным, а стало быть, истинно правдивым. И вновь дает о себе знать натиск правды! Лучше, выходит, скрывать убийство. Как говорится, лучше лгать.

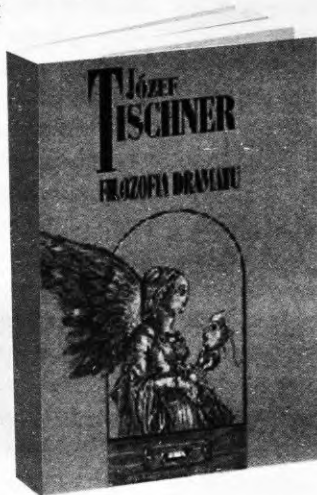
Вот она, аксиологическая ситуация лгущего: кто боится истины, тот чувствует, что этот страх его унижает. В конце концов он должен защищаться, а необходимость защиты всегда оказывается чем-то унижительным. Но чувствовать свое унижение — это одновременно и чувствовать, что противник в чем-то превосходит тебя. Так возникает аксиологическая ось превосходства-унижения, вокруг которой вращается диалог допроса. Ось эта — как бы а priori суть такого диалога. Но лгущий — мы по-прежнему находимся на стороне лгущего — не может согласиться с тем, что его место где-то в самом низу оси. Это значило бы признать, что он лжет. Следовательно, ему надо протестовать. Сначала внутренне, потом и внешне. Этот протест выражается в требовании уважения к себе. Лгущий с такой назойливостью домогается уважения к себе от тех, кому лжет, что уже одно это начинает вызывать подозрение...

Раскольников: «Порфирий Петрович! — проговорил он громко и отчетливо, хотя едва стоял на дрожавших ногах, — я, наконец, вижу ясно,

что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Лизаветы. С своей стороны объявляю вам, что все это мне давно уже надоело. Если находите, имеете право меня законно преследовать, то преследуйте; арестовать, то арестуйте. Но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю».

Преувеличенная забота об отношении к себе вызывает в свою очередь и преувеличенное внимание к следователю, в словах которого улавливается насмешливый тон. Следователь отвечает ему с явным лицемерием, но это лицемерие — не то, что у Раскольникова. Не скрывая того, что все это лицемерие, само лицемерие становится аллюзией истины. Ситуация угрожающая. Истина приближается. «А, почтеннейший! Вот и вы... в наших краях... — начал Порфирий, протянув ему обе руки. — Ну, садитесь-ка, батюшка! Али вы, может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и... батюшкой, — этак tout court? За фамильярность, пожалуйста, не считите... Вот сюда-с, на диванчик». Столь явное лицемерие вызывает еще большее беспокойство. Раскольников чуток: «Он, однако ж, мне обе руки-то протянул, а ни одной ведь не дал, отнял вовремя, — мелькнуло в нем подозрительно».

Диалог-допрос — это диалог подозрения. Кто подозревает? Прежде всего следователь. Переключим-ка на минуту наше внимание на эту фигуру. Следователь изначально предполагает, что другой, Раскольников, лжет. Эта предпосылка, однако, не должна стать явной, чтобы не задеть настороженности лгущего. Проявленное подозрение сильно затрудняет путь к истине. С другой же стороны, сам факт сокрытия подозрения лишает позицию следователя искренности. В этом случае ответом





на неправду Раскольникова будет неправда Порфирия. Ложь порождает ложь, подозрительность вызывает подозрения. Изначальная аксиологическая ось превосходства-унижения должна смениться: тот, кто был внизу, оказывается наверху, а кто был наверху, оказывается внизу. Ось может даже сломаться, и тогда оба окажутся внизу, но не одинаковыми преступниками, а похожими друг на друга лгунами.

Тогда можно будет сказать следующее: диалог допроса представляет собой неустанный хождение по хрупким, ломающимся и изменчивым аксиологическим осям. На зыбкой почве диалога слова меняют свой привычный смысл. Вопросы превращаются в упреки, ответы — в акт обвинения. Перескакивая с оси на ось, собеседники как бы утрачивают главный сюжет. Впрочем, это только так кажется. На месте главного вопроса: «Кто убил?» — появляется новый, например: кто и кого больше, а кого меньше уважает? Выказывая уважение или отказывая в нем, собеседники переходят с одной сцены на другую. А вдруг они споткнутся на этих переходах? Или кто-нибудь из них поскользнется и свалится с раскачивающейся оси? Отход от главного сюжета преследует определенную цель: речь идет о том, чтобы подтолкнуть лгущего в ловушку. Но что такое ловушка?

Ловушка

Вообще говоря, существует два вида ловушек: случайные и заманивающие. Если остановиться на ловушке заманивающей, то нашу классификацию можно будет продолжить, но это необязательно. Мы знаем, что человек расставлял когда-то ловушки на зверей, чтобы удовлетворить свой голод. В расставленных на другого человека ловушках все еще живет давняя традиция. Кто в душе чувствует себя охотником, тот с удовольствием будет ловить и людей.

Случайные ловушки не так эффективны.

На пути, по которому обычно идет зверь, охотник выкапывает яму, соответствующим образом ее маскирует и ждет, чтобы тот неосторожно в нее ступил. Нечто подобное происходит и с человеком. Следователь вдруг спрашивает о деталях, внешне с сутью дела никак не связанной, и ждет хотя бы одного неосторожного слова.

«Вот в чем дело-с, вся-то суть-с: проходя тогда по лестнице... позвольте: ведь вы в восьмом часу были-с?»

— В восьмом, — отвечал Раскольников, неприятно почувствовав в ту же секунду, что мог бы этого и не говорить.

— Так проходя-то в восьмом часу-с, по лестнице-то, не видали ль хоть вы, во втором-то этаже, в квартире-то отворенной — помните? — двух работников или хоть одного из них? Они красили там, не заметили ли? Это очень, очень важно для них!..

— Красильщиков? Нет, не видал... — медленно и как бы роясь в воспоминаниях отвечал Раскольников, в тот же миг напрягаясь всем существом своим и замирая от муки поскорей бы отгадать, в чем именно ловушка, и не просмотреть бы чего? — Нет, не видал, да и квартиры такой, отпертой, что-то не заметил... а вот в четвертом этаже (он уже вполне овладел ловушкой и торжествовал) — так помню, что чиновник один переезжал из квартиры... напротив Алены Ивановны... помню... это я ясно помню... солдаты диван какой-то выносили и меня к стене прижали... а красильщиков — нет, не помню, чтобы красильщики были... да и квартиры отпертой нигде, кажется, не было. Да; не было...

— Да ты что же! — крикнул вдруг Разумихин, как бы опомнившись и сообразив, — да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а ведь он за три дня там был? Ты что спрашиваешь-то?»

У заманивающей ловушки совсем другая конструкция. Мы исходим из того, что ложь для лгущего — средство достичь более высокой цели. У лгущего есть душа, и душа его изнемогает от страха, но она полна и надежды. Она боится смерти, но надеется на свое возвышение. В ловушке может быть и то и другое: признайся, и спасешь свою жизнь; скажи правду, и удостоишься чести. Однако более утонченная заманивающая ловушка — для гурманов — выглядит иначе.

Вот следователь. Вот Тот — человек без лица. Беседа с кем-то таким — еще не разговор. Так, может, это ложь? Следователь хорошо знает: пока лгущий не увидит в нем человеческое лицо, он не ощутит потребности разговаривать, а тем более сказать правду. Это надо понять. Но как? Надо вызвать и оживить в лгущем (Раскольникове) переживания тех его испытаний и чувств, в которых он больше всего ощущает себя собой, которыми он гордится, которые возвышают его над пошлым миром. Раскольников готов осчастливить человечество. А почему бы тогда ему не осчастливить следователя? Вот она, эта непростая ловушка, где при-



манка — несчастный следователь, т.е. та самая сила, которая должна побудить к признанию, а оно — как раз и есть то самое сочувствие, что оказалось у истоков уничтожения..

Порфирий говорит: «Я, знаете ли, человек холостой, этак не светский и неизвестный, и к тому же законченный человек, закоченелый человек-с, в семья пошел и... и... и заметили ль вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России-с, и всего более в наших петербургских кружках, если два умные человека, не слишком еще между собой знакомые, но, так сказать, взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами-с, сойдутся вместе, то целых полчаса никак не могут найти темы для разговора, — коченеют друг перед другом, сидят и взаимно конфузятся».

На том горизонте, где еще недавно маячил лишь безликий Тот, появился некто несчастный, заслуживающий утешения и той степени посвящения, каковой и является признание. Меняется пространство диалога. Из ищейки, которой приказано выслеживать зверя, следователь превращается в зверя, которого выслеживают собаки. А Раскольников — одна из них?

Но Раскольников не переступает порог ловушки. Почему?

Существует тонкая грань, преодолев которую сострадание переходит в растущее отвращение. Вместо того чтобы протянуть руку, человек отдергивает ее. Вместо сочувствия к изображенному на лице страданию отводит глаза. Раскольников вдруг понимает, что к тому, кто может из собственной боли соорудить кое-кому тюремный замок, уже нет сострадания. Но это не значит, что на месте сочувствия возникает жестокость. Тут возникает отвращение. Человек отводит глаза и не хочет иметь с этим ничего общего. Диалог человека с человеком прекращается, восстановить связь нет уже никакой надежды.

Раскольников потом признается. Но не следователю и не тому, кто сказал ему: «Ты — убийца», а Соне. Она ему никаких ловушек не расставляла.

Политический разум

Выше мы рассматривали внешний сюжет в диалоге с тем, кто лжет с целью скрыть преступление. Исходный посыл этого диалога — признать, что правда — это высшая (по сравнению с ложью) ценность. А потому ложь должна основываться на изображении правды. Другой по-

сыл — общее для того, кто лжет и кому лгут, понимание правды в ее соотнесенности с так называемой объективной действительностью. Как следствие лжи, подчиненной изображению правды, возникла игра на двойной сцене и двойной диалог: один — с внешним окружением, второй — лгущего с самим собой. Двойная сцена и двойной диалог — это указатели наличия в сознании лгущего двойного а priori — а priori лжи и а priori правдивости. Их соотношение показывает, что а priori правдивости было вместе с тем и а priori лжи, но не наоборот. Ложь обычного разума предполагает правдивость как свое условие возможного. Отсюда трагизм лгущего. Сама логика лжи ограничивает власть обычного разума над правдой.

Так ли это? Еще раз поставим себя на место лгущего. Неужели мы — лгущие — безоговорочно приговорены к тому, чтобы чтить ту ценность, которой мы не можем быть верны? Неужели нельзя освободить себя от тех обстоятельств, которые ограничивают нашу власть над истиной? Речь, однако, идет не о том, на чем настаивал Ницше, полагая, будто ложные суждения в жизни обязательны. А не сделать ли нам еще один шаг, чтобы признать, что ложное суждение о жизни в целом не так уж и ложно? И нельзя ли то, что до этого было правдой, провозгласить ложью, а ложь правдой?

Может, это и есть истина? Обычный разум придерживается точки зрения, согласно которой здесь подразумевается соотнесенность знания с объективной действительностью. Материальная действительность, из которой выстроена сцена нашей драмы, являет нам огромный резервуар с сырьем, обрабатываемым техническим разумом. Историческая действительность, творения культуры, государственные системы, религии — всё это плоды убеждений, которые по неведомым причинам доминируют в конкретное время и в конкретных обществах. То, что называется объективной действительностью, на самом деле есть минутное **состояние вещей**, определенное прежней историей знаний и самосознания человека. Что же тогда правда, а что ложь? Правда и ложь зависят от признания обществом тезиса, соответствующего ценности: более ценный для конкретного общества тезис признается и более пригодным для оправдания, а стало быть, и более правильным; тезис же менее ценный (или просто вредный) представля-



ется тезисом ошибочным. Каков здесь критерий истины? Критерием истины оказывается ценность, служащая данному тезису.

Перед Раскольниковым открылся еще один путь: то, что для обычного разума — ложь, оказывается высшей истиной, а то, что для обычного разума — истина, становится для высшего разума ложью.

Эта концепция лишь на первый взгляд кажется парадоксальной. Своими истоками она несомненно уходит в научное, естественное мышление. Но естественные науки лишь на первый взгляд кажутся результатом объективной мысли, свободной от всяких ценностных установок. Наука и сама упорядочивает свои тезисы не только в соотношении с их отношением к действительности, но и в соотношении с теми ценностями, которые им служат. В лоне науки мы находим суждения и системы суждений, которые являются теоретическими суждениями, рабочими гипотезами, исследовательскими постулатами, предположениями, имеющими исключительно эвристическую ценность. История науки учит нас, как менялась в разные времена оценка наук, как одна «королева наук» должна была уступать место другой и как это влияло на их развитие или упадок. Знание всегда идет рука об руку с оценкой знания. Пусть и теперь оценка знания упреждает само знание и выявляет его истинность.

Повторим еще раз: основной критерий истины — ценность, которая служит данной истине. Этот тезис оказал радикальное воздействие на развитие мышления, которое наука порождает и с которым она с самого начала неразрывна. А не лежит ли тогда за ее пределами исполнение ее скрытой мечты? Разве не распространено мнение, что знание — сила, а наука — главное творческое средство? Раньше истина властвовала над мышлением, но это не прибавило людям счастья. Отныне у мышления нераздельная власть над правдой.

Эту ситуацию мы назовем аксиологическим радикализмом.

Аксиологический радикализм имеет два последствия. Прежде всего он проливает новый свет на идею власти. Проблема власти становится важной проблемой аксиологии. Любой материал оказывает большее или меньшее сопротивление попыткам реализации ценности. Это сопротивление вытекает как из естественной инертности материи, так и из того факта, что эта материя уже была сфор-

мирована посредством других ценностей. Но чтобы воплотить ценности в материи или поднять материал до уровня ценностных произведений, необходимо некоторое quantum силы. Силой такой обладает только человек, в особенности же человек, у которого есть данные верховодить. Чтобы строить лучшее будущее, надо соединить очень многое в одном могучем организме, движимом одной мыслью и одним сердцем. Ведь ключ к реализации ценности — в руках власти. Но это означает, что власть еще и владеет истинностью. Она и знает, и может. Ее практика оказывается в итоге конкретным и последним критерием истины: правда — то, что дается власти, а неправда кончается вместе с ее неудачами. Обладая соответствующей властью, которая способна направить в определенное русло волю людей и уничтожить преграды, стоящие на их пути, человек может чувствовать себя господином и правды, и неправды. То ли как Бог, то ли как анти-Бог... Во всяком случае — как Раскольников. Другой результат аксиологического радикализма — мотивация, с которой обращаются к людям, чтобы они признали в некоторых ценностях то, что особенно выгодно. Как можно убедить другого, что он должен реализовать данную ценность? Ссылка на «объективную действительность» будет противоречить идее аксиологического радикализма. Вот почему Ницше приходится говорить об **обольщении**. Обольстить — значит что-то пообещать, пробудить надежду, разжечь жажду покровительства. Обольщение, однако, не исключает и более негативного поведения: угроз, страха, силы, побуждающей к действию... И нет здесь никаких нарушений естественных законов человеческой личности. Если всё — материал, то и человек — тоже материал. Более того, человеку еще предстоит дорасти до уровня создателя ценности. Власть тогда сможет сформировать его так, чтобы он разумно, но и послушно участвовал в ее великом предприятии. То же самое, стало быть, происходит и с областью отношений Я и Ты: определенная практика становится конкретным и окончательным критерием истины.

Как назвать разум, который совершенствует обрисованную нами аксиологическую радикализацию? Назовем его **политическим разумом**. Этот разум стремится к созданию мира заново. Но он не хочет и не может делать этого в одиночку и вовлекает в свое дело всех людей, используя определенную политику. Отсюда и наше название. Это, однако, не



значит, что само название исчерпывает свой смысл. Кто захочет, пусть извлекает отсюда то, что следовало бы назвать демонической стороной метафизики.

Конкретизацией такого разума и является образ Раскольникова. Раскольников обвиняется в убийстве. Однако убийство есть там, где до этого было братство. Процентщица сама разорвала братские узы. Если что и было, то исключительно уничтожение. Но разве на войне не уничтожают? На поле брани? И разве не полезно уничтожить преграды на пути к светлому завтра? Если это так, то Раскольников не лжет, а говорит чистую правду — в высшем или обычном смысле. Почему же его осуждают за то самое, за что превозносят Наполеона?

Злобный демон

Есть по крайней мере два символа злобного демона — тотальная ложь и тотальная власть. Демон тотальной лжи обманывает великодушно: он играет в ложь, как человек, который помнит себя ребенком, когда его счастье пребывало в сказочной стране. Демон тотальной власти играет во власть как человек, который вырос, и ложь для него — лишь средство достижения цели. Это не исключает и правды, если, конечно, она служит делу власти.

Спор с демоном тотальной лжи прост. Мы уже об этом говорили: тотальная ложь невозможна, поскольку тогда надо быть одновременно лжецом, обращенным к другим, и лжецом, обращенным к самому себе. Но ведь не может быть лжи без лжи, осознаваемой тем, кто лжет, и не осознаваемой тем, кому лгут. Если же, далее, я стал бы лгать себе самому, то в то же время я должен был бы осознавать и правду, которую от себя скрываю, а это исключает полное самолицемерие. Вместо того чтобы обманывать себя, лучше бежать от себя. Итак, убежать, убежать, убежать, забывая о себе, в театр иллюзий, в бессознательное состояние. Лучше уж мне убежать, чем совсем себя излицемерить.

Более сложным оказывается спор с демоном власти. Абсолютная власть соблазняет каждого из нас, даже тех, кто выступает против нее. Это не только власть над стихиями неба и земли, но и власть над правдой и ложью. Главное стремление тотальной власти — не познание, а создание нового, «лучшего» мира. Первый слуга этой власти — политический разум, который тем самым поднят на уровень метафизического разума. Разум этот способен пользоваться обычным пониманием истины — он не отказывается от нее: а зачем? Вдруг

пригодится, если потребуются обвинять и судить противников? «Что ты делал в означенный час ночи? Тебе знаком этот топор? Это следы крови?» Как ответить на эти вопросы, не прибегая к обычному разуму? Но политический разум знает: истина о том, что есть, должна склониться перед истиной о том, что будет и что должно быть. Это так очевидно, что обычный разум часто некритически подчиняется позиции политического разума. Нацеленный исключительно на правду, он пробуждается слишком поздно, чтобы помешать политической практике. Он открывает глаза, когда все уже решено, и оказывается тогда в сетях ее чар. Неправда, будто политика влияет на обычный разум средствами насилия и только так им завладевает. Политическое действие никакими иными средствами, кроме силы создаваемой правды, не владеет. Сова Минервы вылетает в сумерки и делает явным — в виде правды истории — то, что построил политический разум. Чтобы возник рабский ум, вовсе не нужен страх. Хватит одной любви к тому, что есть, с точки зрения того, что есть.

Соблазнительная сила политического разума может проникать еще глубже. Результатом станет не только признание уже созданной истины, но и попытка следовать самому способу ее создания. Зачарованный надвигающимся театром, обычный разум избирает себе образцом политическое мышление и, все больше отказываясь от собственной обыкновенности, формирует себя по образу и подобию политического разума. С чего он начинается? С постановки ключевого вопроса политики: кто за меня, а кто против? Мы уже не спрашиваем: что происходит? Не спрашиваем: откуда взялось то, что происходит? Из чего состоит то, что происходит? Мы оказались в мире в совершенно новой ситуации!

Наше мышление начинается с подозрения: а вдруг ты против меня? И если ты против меня, то я должен буду найти способ уговорить тебя покориться мне. Требуя признания, этот разум подзревает, что существует еще и возможность отказать в признании, то есть более или менее открытый бунт. Но чтобы вызвать признание и успокоить возможный бунт, политический разум использует, с одной стороны, угрозы, а с другой — посулы. Однако не легко обещать, если мало что есть в распоряжении. Что же тогда можно предложить? Участие во власти. Будешь господствовать вместе со мной, сможешь многих заставить подчиняться.



Гораздо легче пугать: не поддашься — лишишься жизни и потеряешь своих близких, погибнешь. Гений политического мышления проявляет себя в богатстве открытий, совершаемых на уровне обещаний и страхов. Для этого мне и необходимы знания о человеке. Надо признать, что эти знания бывают значительными.

Политический диалог с подданными (или с кандидатами на эту должность) вращается вокруг угроз и посулов, способствуя возникновению особого языка — языка насилия. Он апеллирует не к обычной истине, а к истине политической, которой еще нет, но которую надлежит создать. Этот язык поощряет и отбивает охоту, усиливает и ослабляет, пробуждает энтузиазм и ощущение опасности, воспламеняет и тушит пожары, соблазняет и обманывает — одним словом, агитирует. Менее важно, *что* говорят, гораздо важнее, *как* говорят. И всегда, как шлейф, тянутся подозрительность и всякого рода ее проявления: подозрительность порождает обвинения, обвинения — доноительство, а уж от доноительства до убийства один шаг.

Сколько же прелести в таком мышлении. А язык! Основные категории легко схвачены, сами липнут к воображению и приводят ко всё новым и новым результатам. Сколько же радости доставляют неожиданные открытия — правильное было бы назвать их «разоблачениями»! Тот, оказывается, только внешне был с нами, на самом деле он против нас. Провокатор! Шпион! Саботажник! Разве с такими открытиями могли конкурировать открытия математиков, физиков, химиков? Политическому мышлению достаточно убеждения, что мы в состоянии осудить существующий мир. Такое осуждение доставляет нам радость. К этому прибавляется и огромная радость созидания: рядом с ней бледнеет печаль о разрушениях, которые, к сожалению, должны предшествовать созиданию. Политическое мышление заразно, оно распространяется не благодаря проявляющейся истине, а только как зараза — посредством соприкосновения. Нет ничего удивительного в том, что его влиянию поддаются даже самые изощренные интеллектуалы. Хотя бы такие, как Раскольников.

Победа

Кто победил в диалоге допроса? Раскольников. Его успех состоит не только в том, что он не позволил заманить себя в ловушку, но прежде все-

го в том, что он самого себя сумел убедить, будто, уничтожая, он не преступление совершал, а действовал прогрессу и человеческому счастью. Средством победы стала смена понятий о правде. Правда согласуется уже не с действительностью, к знаниям о которой она относится, а с действительностью, создаваемой человеком, спроектировавшим для этого идеальную модель перестройки. Раскольников не в силах объяснить это следовательно, ибо следовательно не в состоянии все это понять. Он мыслит спущенными сверху готовыми схемами, в которые хочет замкнуть и взгляды Раскольникова. Следовательно — часть того мира, который должен сгинуть.

Успех Раскольникова состоит не только в спасении жизни. Спор, свидетелями которого мы оказываемся, — это спор о власти. Чтобы добиться власти, надо показать себя справедливым среди несправедливых. В основе победы лежит самооправдание. Что значит оправдать себя? Доказать, что ты не лжешь. Раскольников, включив в дискурс политический разум, доказывает, что он не убивал. Стало быть, он не лжет. Его поступок и в самом деле исполнен мужества. И хотя у следователя об этом другое мнение, это не имеет большого значения. Благодаря способности к предвидению и героизму можно стать вождем, ведущим общество к лучшему будущему.

Раскольников не отказался от правды. Он изменил ее значение. Но он в полной мере осознаёт, какую великую роль играет правда в жизни людей и народов, и намерен руководствоваться только правдой. Раскольников со всей точностью отделяет то, что благодаря его политике произойдет завтра, от того, что благодаря ему уже произошло. То, что будет, что возникнет, подлежит истине политического разума; и тут обязательно абсолютное первенство аксиологии: чем более значимым будет проект завтрашнего дня, тем он будет правдивей. То, что уже создано, подлежит оценке и описанию в категориях обычной истины. Нет такого ума, который способен оспорить победу политического разума. Если же кто-нибудь осмелится в том усомниться, он столкнется с еще лучшим следователем, который выкажет ему свою ложь. Итак, истина — фундамент власти Раскольникова.

Раскольников победил.

Из романа Достоевского мы, однако, знаем, что вышло по-другому. Почему же? Не потому ли, что Раскольников оказался слаб перед



бременем собственных поступков? Не потому ли, что его аргументация завела его неведомо куда? А может, он проиграл случайно? В результате убийства несчастной Лизаветы? А может, всему виной Соня, с мнением которой он так считался?

Достоевский рисует нам образ проигравшего. Но мы ему не верим. Раскольников победил и обладает властью. А что дальше? Притупились ли его страхи? Оставила ли его тоска?

Демон побеждающий

Взглянем еще раз на диалог допроса: диалог этот начался с защиты, а кончился властью над правдой и над человеком. Он привнес с собой — силой собственной логики — определенное отношение к другому человеку: отношение диалектики противоречия. Допрашивающий — противник допрашиваемого, а допрашиваемый — противник допрашивающего. Там, где есть допрос, есть и диалектика противоречия. А потому нет иного выхода: тут один должен потерпеть поражение и капитулировать, а другой — стать господином. Ставка диалога — господство или рабство. Этому служит и смена понятий истины. Истина?.. Да, но такая и столько, сколько надо для господства!

Зададимся теперь вопросом: в чем главные противоречия власти, завоеванной таким образом? Где для Раскольникова-вождя таится опасность? Если ему уже все дано, может ли где-то еще тлеть огонек бунта?

Ответ следующий: в самом диалоге допроса.

Диалог допроса не закончился в момент получения власти, поскольку свойство власти — быть всегда в опасности. Никогда нельзя быть совершенно уверенным. Подданных необходимо неустанно допрашивать. Раскольников допрашивает великолепно: он же сам из допрашиваемых. Но, допрашивая, он соединяет себя и своих подданных связью, которая обязательно приведет к данному диалогу, — связью диалектики противоречий. Он против них, а они против него. Что значит быть противником? Как выглядит подобная абстракция? Быть против — быть нацеленным на месть. Око за око, зуб за зуб. Допрашивающий сам является допрашиваемым. С какой правдой борешься, от такой и погибнешь.

Неверно, будто между абсолютной властью и подданными нет никакого диалога. Диалог существует всегда. Только это диалог допроса. Один

раз тотальная власть допрашивает общество подданных, а в другой раз общество подданных допросит власть.

Так Раскольников начинает понимать, что всё им придуманное обратится против него. Придумал двойную сцену — будет у тебя двойная сцена. Придумал двойной диалог — будет и двойной диалог. Если показал, как можно скакать по хрупким аксиологическим осям, увидишь великолепный цирк. Показал, что значит кружить вокруг преступления, — увидишь теперь, как кружат твои подданные. Кто расставляет ловушки другим, тот увидит, как другие расставляют их ему. Но самым большим потрясением станет смена понятия истины и последующее изменение природы мышления. Если вся действительность — только материал, из которого надо создать нечто осмысленное, то и сам он, Раскольников, и его власть — такой же материал. Разве такую власть нельзя изменить? Надо попробовать — может, удастся ее уничтожить. Как практика власти по отношению к обществу является окончательным критерием истины, так и критерий истины — это практика общества по отношению к власти. Вершина такого мышления — мышление политическое... А тогда — власть за меня или против меня? Тот, кто меня допрашивает, всегда против. Значит, и я не могу иначе. Если власть и ее разум постоянно меня подозревают, тогда я лишь кажусь подданным, и у меня есть право подозревать, что власть эта — лишь видимая. Если политический разум мне угрожает, я угрожаю ему. Если власть обещает, то и я обещаю; а у моих обещаний та же ценность, что и у обещаний власти. Если она их не выполнит, то и я имею право не выполнить. Власть меня обвиняет. И я обвиняю, осуждая. Власть меня осуждает. И я осуждаю тех, кто осуждает меня. Власть может меня уничтожить. Но и я тоже тотчас же вытравлю ее из своего сознания. У мышления отмщением своя окраска. Ее может быть даже больше, чем у конструктивного (или кажущегося конструктивным) мышления власти. Это мышление еще больше развивает предусмотрительность, сметливость, осторожность и отвагу, проницательность и коварство, как и все иные прозорливые способности человеческого тела и духа. Оно приумножает радость — радость победы. Ибо в борьбе с великим противником даже самый маленький



выигрыш кажется огромным успехом. Ключ здесь — проблема отмщения. Игра идет на двойной сцене, и с ней неразрывно связан двойной диалог: в одном случае — власти и подданных друг с другом, а в другом — власти с подданными и подданных с властью. Власть — это Они. А подданные — Мы. Но может быть и наоборот: власть — это Мы, а подданные — Они. Кто из нас наверху, а кто внизу? Мы все время движемся по сломанной аксиологической оси, то поднимаясь, то опускаясь, презирующие и презируемые. Между Ними и Нами существует целая система ловушек — случайных и с различными приманками. Кто кого перехитрит? Кто кого поймает с поличным? Над всем этим распростерся язык. Язык насилия: обещания переходят в обвинения, поощрения переплетаются с угрозами, разоблачения — с доносами. Язык демонстрирует нам структуру политического мышления: кто за меня, а кто против? С кем я, а с кем ты? Так растет мистериальное здание лжи, которая берется из чистой мести. Есть ложь, в которую верит одна только власть. Есть ложь, в которую верят только подданные; но есть и ложь, которой не верит никто. Нужны специальные знания и исключительные способности, чтобы не пропасть в подобном здании.

Да существует ли это все на самом деле? Действительность **на самом деле** представляет собой кружение некоего сознания преступления. Сначала было совершено какое-то преступление. Кто его совершил? Когда? Неизвестно, допрос еще продолжается. И мы продолжаем выслеживать. Мы даже точно не знаем, каково было преступление. Но парадокс заключается именно в том, что то, о чем мы не знаем, для нас более реально, чем то, что нам известно, и оно более реально, чем то, что есть здесь и теперь. И способно действовать эффективнее, чем все идеалы политического разума, которые требуют столь великих жертв.

Важнейшее достижение диалога допроса таково: он выявляет нам круг преступного существования, из которого не вырваться. Есть ли что-нибудь реальнее?

Так гибнет царство Раскольникова — посредством медленного развращения. Его политический разум, стремящийся превратить все в материал, оказывается вдруг в ситуации, где **ничто**, из которого должно бы возникнуть **всё**, постоянно остается **ничем**. Но в таком случае **ничем** оказывается и он сам со всем своим стремлением стать **кем-то** посредством господства над всеми. Это невероятный Бог — разрушитель его царства. Нет, это Демон лжи гниет под тяжестью того демона, которого он сам же и призвал.



Збигнев Жакевич

ПОЛЯКИ У ДОСТОЕВСКОГО

Вопрос этот появился, как только я взялся за первую книгу Достоевского — за желтую, на газетной бумаге серию издательства «Рой», в которой вышел плохой перевод «Братьев Карамазовых»: почему мы вот такие? И где-то в глубине сердца таилось ужасное подозрение: а мог ли он ошибаться? Две любви — к литературе и к жизни, которая для каждого осуществляется в форме, придаваемой ему нацией, и которая продолжается в нации, — стали противницами.

Тогда-то я и решил распутать эту болезненную тайну, еще не зная, что искать объяснения — то же самое, что прощать.

Желая осветить тайну немилости Достоевского к полякам, следует сойти в глубину психики писателя, в его душу, которая, как рентгеном, просветила поляков своим знанием. Факты же из биографии писателя, которые сохранились до нашего времени в весьма неполной форме, следует рассматривать прежде всего как дополнение, которое нередко и неожиданно выдает нам намерения, управлявшие автономным миром художника. Во всяком случае — отнюдь не как документ, использующийся ради пустых и бесплодных сравнений того, что было «вправду», с тем, что показал писатель в своем творчестве. Тогда мы и обнаружим, как связан «польский вопрос» со взглядами Достоевского, насколько плотным, тотальным было мировоззрение автора «Идиота», который своим критическим, распаленным страстями духом просвечивал действительность зримого мира, так что она подвергалась преобразованию, служа субъективному — то есть единственно доступному литературе.

Первым опытом проникнуть в польский комплекс Достоевского была давняя работа Ежи Стемповского «Поляки в романах Достоевского» (новый перевод см. «Новую Польшу», 2000, №7-8; первый русский перевод был напечатан в первом русском номере «Культуры», Париж, 1961. — *Ред.*). Эта статья одновременно показала, насколько трудно и небезопасно вникать в мир Достоевского, даже помня о специфике его писательского зрения.

Стемповский, не вполне знавший биографические материалы, пришел к выводу, что конфликт между Достоевским и поляками — это скорее домысел, лишенный реальных оснований. Иначе, пишет он, мы нашли бы следы этого конфликта в «Записках из Мертвого дома». Поглядев на «Записки» поверхностно, не вникнув во взгляды писателя, Стемповский выдвинул рискованный, но вместе с тем привлекательный тезис, согласно которому истоки двусмысленного изображения поляков лежат в глубоких, как мы сказали бы сегодня, экзистенциальных основах его произведений. Достоевского, доказывал Стемповский, интересует мир людей проклятых, без надежды на спасение, и потому живущих бунтом. Поляки же не были прокляты, ибо обладали глубокой верой в правоту национального дела, они были мучениками этой веры, то есть жили в мире надежды. Поэтому, заключает Стемповский, чем больше муки поляков делали их подобными русским, тем отчетливей они выглядели фальшивыми героями. Поэтому понятие «поляка» ассоциируется у Достоевского с фальшью.

Непосредственным откликом довоенной критики на статью Стемповского было полемическое выступление Кароля Заводзинского. Он опроверг основной тезис Стемповского, констатируя, что если бы поляки были значащим символом, Достоевский не остановился бы на нескольких набросках, ибо стремился бы до конца разъяснить свое мировоззрение. Затем Заводзинский обратился к эпохе Достоевского, подчеркивая, что в 1870-е годы в реакционной русской литературе весьма живо развивался шаблон «польской интриги», объясняющий революционные происшествия в России польским вмешательством. Другой причиной было недружелюбное отношение поляков к русскому окружению, уверенность в культурном превосходстве над Россией. «Польша экспортировала и картежных игроков. Картежник Достоевский, должно быть, с ними встречался», — замечает Заводзинский.



Голос Заводзинского был, собственно говоря, единственным близким к истине вплоть до недалеких от нас времен, когда заслуженный славист профессор Вацлав Ледницкий, ныне покойный, опубликовал в своей книге «*Essays on Literature and Culture History*» работу на тему «Поляки и Достоевский».

В первой ее части Ледницкий приводит свое прежнее мнение о «Записках из Мертвого дома» — этой «самой польской из книг Достоевского»: «Есть только одна группа поляков, которых Достоевский не обругивает оскорбительными эпитетами, не унижает морально, — это его товарищи по сибирскому изгнанию». Этот объективизм Ледницкий приписывал влиянию барона Врангеля, с которым Достоевский встретился в Семипалатинске, то есть в период работы над «Записками».

Окончательное же мнение Ледницкого о поляках в «Записках из Мертвого дома» сложилось после сопоставления книги Достоевского с воспоминаниями его польского сотоварища по омской каторге Шимона Токажевского [в принятой в XIX веке и сохраненной в примечаниях к собранию сочинений Достоевского русской транскрипции — Токаржевского] «Семь лет каторги». Ледницкий констатирует, что правда, предлагаемая Достоевским, носит «двойной характер».

Хотя свое рассуждение Ледницкий ограничивает несколькими примерами (и не со всеми его выводами можно согласиться), глубоко верен его главный тезис: на характеристику польских действующих лиц в большой мере повлиял сибирский опыт писателя. Я пришел к такому же выводу еще до чтения работы Ледницкого, прочитав воспоминания Токажевского и барона Врангеля.

Первое близкое знакомство с поляками следует отнести не к каторге, как считал Стемповский, но к гораздо более раннему времени. Как вспоминает писатель Григорович, однокашник Достоевского по военно-инженерному училищу, треть воспитанников училища составляли поляки, треть — немцы и только одну треть — русские. Следует также помнить, хотя бы из «Пана Тадеуша», что 1830-1840-е годы — это время, когда в Петербург толпами съезжалась польская шляхта в поисках развлечений и заработка. Тем не менее в юношеских произведениях Достоевского поляки не появляются, кроме эпизодического упоминания о некоем Симоневиче, который говорил «Падам до ног», в «Романе в девяти письмах». Почему же Достоевский заинтересовался поляками не сразу по окончании училища, а куда позже, когда делил с ними не школьные парты, а каторжные нары? Первоначальное молчание и позднейшие памфлеты на поляков явно указывают на особую роль, которую в формировании антипатии Достоевского сыграл его сибирский период. Поэтому следует проследить этот период внимательней, нежели это сделал Стемповский.

По счастливому стечению обстоятельств мы знаем сибирский период по двум текстам. Омскую каторгу описал один из героев романа Достоевского — «Т-ский», то есть вышеназванный Токажевский.

Как вытекает из воспоминаний Токажевского, Достоевский предстал перед поляками уже после того, как его взгляды прошли эволюцию и он встал на позиции своеобразного славянофильства, в котором самодержавие, православие и народность соединились скорее в духе катковской России, нежели аксаковской Руси. «По мнению Достоевского, — вспоминал по прошествии многих лет Токажевский, — в мире существует только один великий народ, предназначенный к высокой миссии, — русский народ». В другом месте своих записок он отмечал: «Насколько же горько было слушать, как этот заговорщик, этот осужденный за свободу и прогресс исповедовал, что тогда только почувствует себя счастливым, когда все народы перейдут под скипетр России». И наверное не раз польские каторжники напоминали Достоевскому о его предполагаемом польском происхождении, так как Токажевский пишет: «Достоевский ненавидел поляков, ибо черты лица и фамилия, к сожалению, выдавали его польское происхождение. Он говаривал, что если б знал, что в его жилах течет хоть одна капля польской крови, — велел бы тут же ее выпустить».

Кроме решающего у Достоевского идейного антагонизма был и другой источник недружелюбия и обид по отношению к польским каторжникам. Как вспоминают многие современники, Достоевский был деспотичен и задирист. Поляки прекратили с ним общение. «Высокомерный и грубый, он довел нас до того, что мы не хотели с ним разговаривать», — пишет Токажевский. Это происходило тогда, когда Достоевский страдал от полной изоляции (далеким отголоском этого стал каторжный опыт Раскольникова), потому что как дворянин не мог вступать в дружеские отношения с уголовниками, а со своим товарищем по кружку Петрашевского Дуровым вообще не разговаривал.

Об этом одиночестве пишет в «Записках» сам Достоевский, подтверждают это и другие очевидцы пребывания писателя на каторге. Как следует из воспоминаний караульных, Достоевский «был неприятный, глядел на людей, как волк в клетке (...) с нами не разговаривал, не говоря уж об арестантах,



которых вообще избегал и с которыми ни в какие человеческие отношения не вступал. (...) Каторжные не любили его (...) они глядели на него и молча уединялись».

Таким образом, было немало причин неприязненно относиться к полякам, участникам заговоров и войн против царской России. Можно вспомнить, что враждебное отношение к Тургеневу возникло на схожей основе. Достоевский возненавидел Тургенева как ведущего представителя западничества, а вдобавок не мог простить ему личного оскорбления.

Так почему же поляки, герои романа о Мертвом доме, — полнокровные люди, а не отражения уже тогда снедавшей Достоевского антизападной одержимости? Ледницкий, внимательно изучив «Записки», считает, что следы одержимости в книге все-таки можно найти. Достоевский почти на каждой странице подчеркивает, пишет Ледницкий, «типичную исключительность поляков, их постоянную отдаленность от окружающих, создавая легенду, которая распространена в России даже среди людей, которые не читали Достоевского (...) В настоящее время, когда у нас есть записки Токажевского, раскрывающие претензии Достоевского к шляхте, его некрасивое поведение является во всей полноте».

Этот упрек выглядит наименее убедительным, так как в свете воспоминаний самого Токажевского (который, например, рассказывает, как впервые вошел в острог и ни одному из каторжников не пожал протянутой руки, а те своею ненавистью довели его до состояния, граничащего с манией самоубийства), оказывается, что Достоевский на этот раз был прав.

И вообще следует спросить, мог ли Достоевский в такой книге, как «Записки из Мертвого дома», «быть неправым»? Это единственная книга Достоевского, где он стремится рассказать свою судьбу впрямую, книга, которая ближе к репортажу высокого класса, чем к типичному для Достоевского роману, — проявление того критического духа, той ревнивой страсти, что хочет достигнуть цели, исходя из идеи и устремляясь к идее. О подлинных намерениях автора такой книги свидетельствует то, какие факты он запомнил из множества событий и как эти факты созвучны идеям, терзавшим Достоевского.

Любимые герои Достоевского в «Записках» — вдова Настасья Ивановна, полный смирения старичок-старовер, юноша с «мягкостью сердца» Алей. Достоевский открывал в них душу русского народа, народа, который знает, что такое смирение, любовь-жалость, великодушие. Между тем всех поляков, кроме старика Жоховского, характеризовали гордость и высокомерие. К своим гонителям они питали ненависть. Говоря о широко применявшемся наказании шпицрутенами, Достоевский замечает, что он «удивлялся (...) всегда тому необыкновенному добродушию, тому беззлобию, с которым рассказывали все эти битые о том, как их били, и о тех, кто их бил». Зато поляк Мирецкий (М-цкий), хотя и не был дворянином, не мог забыть наказания шпицрутенами. Когда Достоевский однажды спросил его об этом, «лицо его покраснело; через полминуты он посмотрел на меня, и в глазах его засверкал огонь ненависти, а губы затряслись от негодования». В другом месте Достоевский рассказывает историю польского ссыльного Коллера: «Смолоду, только что придя на службу в Сибирь, он бежал от глубокой тоски по родине»; когда его снова привезли в Сибирь, «прежняя тоска обратилась в нем в ненависть, скрытую, глухую, всегдашнюю».

Особенно ощутимо Достоевский, должно быть, чувствовал ненависть, которую испытывали поляки к уголовным каторжникам, воплощавшим для него уже тогда, как мы знаем, весь русский народ. На каторге Достоевский и почерпнул веру в то, что «немногому могут научить народ мудрецы наши (...) напротив: сами они еще должны у него поучиться». У вышеназванного Мирецкого, поляка, с которым Достоевский проводил больше времени, чем с другими, и даже немного сдружился, «под конец, с годами, все это как-то стало (...) сосредоточиваться внутри, на сердце. Угли покрывались золою. Озлобление росло в нем более и более. «Je haïs ces brigands [Я ненавижу разбойников]», — повторял он мне часто, с ненавистью смотря на каторжных, которых я уже успел узнать ближе, и никакие доводы мои в их пользу на него не действовали».

Стоит обратить внимание еще на один мелкий, но красноречивый факт. Если польские дворяне и интеллигенты обладают своими индивидуальными чертами, то польские каторжники из народа показаны автором «Записок» безлико и все определяются презрительным словом, которое потом сделало карьеру в творчестве Достоевского, — «полячок».

Эти две совершенно различающиеся характеристики лучше всего свидетельствуют о том, что Токажевский и его товарищи характеристикой, на вид бесстрастной, обязаны своему социальному положению, тому, что для самого Достоевского и читателей его «Записок» они были предметом особо интересным как люди из того же социального класса.



В 1854 г. Достоевский вышел с каторги и был переведен солдатом в Семипалатинск. Там он закончил «Записки», но продолжал видеть польских ссыльных либо поляков, отбывавших армейскую службу.

В Семипалатинске, как вспоминает Токажевский, который проезжал через этот город по пути в Омск, была тогда большая польская колония. Это были ссыльные — патристически настроенная молодежь из Виленского университета, большая группа польских участников венгерского восстания и польские мужики, забранные в армию. Как на каторге, так и здесь русские дворяне считали польских «людьми из хорошего общества». И — тоже как на каторге — поляки неохотно вступали в близкое знакомство с местными жителями. Барон А.Е.Врангель, который взял под свою опеку Достоевского, писал, что поляки жили в замкнутом кругу, обособленно и с русскими в связи не входили; богатые заботились о своих бедных собратях, и вообще среди них царила солидарность.

Взгляды виленских студентов и венгерских повстанцев, вероятно, были недалеко от взглядов Токажевского и его товарищей. И понятно, почему Врангель писал, что Достоевский не любил и избегал поляков, делая исключение только для одного — бывшего инженера Гиршфельда, который изредка приходил к Достоевскому и Врангелю и вносил разнообразие в их жизнь. Однако из продолжения воспоминаний следует, что кроме Гиршфельда они знали еще одного поляка, о котором Врангель упомянул в связи с поездкой Достоевского в Змиев, где тот должен был встретиться с М.Д.Исаевой, своей будущей женой. Чтобы Достоевский смог поехать в Змиев, Врангель «распустил слух, что после припадка Федор Михайлович так слаб, что лежит. Дал знать и батальонному командиру Достоевского; говорю: «болен бедняга, лежит, и лечит его военный врач Lamotte». А Lamotte, конечно, за нас, друг наш был, чуждой, благородной души человек, поляк, студент бывшего Виленского университета, выслан сюда на службу из-за политического какого-то дела».

В Семипалатинске разыгралась также весьма интересная с точки зрения позднейшего творчества Достоевского история с молодой полькой, которую Врангель называет Мариной О.

Марину опекала Исаева — еще до смерти своего первого мужа и выхода замуж за Достоевского. Под влиянием просьб Марии Дмитриевны Достоевский стал давать девушке уроки. Когда Исаевы уехали в Кузнецк, Достоевский, войдя в доверие к отцу девушки, приглашал ее на хутор, где жил вместе с Врангелем. Врангель был этим доволен, наивно рассчитывая, что дочка шляхтича возбудит у Достоевского новое чувство и отвлечет от «роковой страсти» к Исаевой, тем более что Марина была явно неравнодушна к учителю. Врангель пишет, что Марина оживляла их дом, бегала, кокетничала и флиртовала со своим учителем.

После отъезда Исаевых Марине исполнилось 17 лет, она, по словам Врангеля, выросла, расцвела, похорошела. И тут произошла трагедия. Девушкой заинтересовался известный семипалатинский Дон Жуан — 18-летний Ванька по кличке Саврасый. Он соблазнил Марину, а потом покинул. Об этом узнал его кучер, старый киргиз, и так запугал Марину, что она ему отдалась. Только вмешательство Врангеля привело к тому, что киргиза выселили из города. Марину О. отец выдал за старого хорунжего казачьего полка.

На этом история Марины не закончилась. Когда Мария Дмитриевна вернулась в Семипалатинск уже женой Достоевского, Марина стала причиной сцен ревности, которые та устраивала мужу. То, что эпизод с Мариной О. был немаловажен, можно догадаться по дальнейшим воспоминаниям Врангеля: встретившись десять лет спустя с в Копенгагене, Достоевский и Врангель много вспоминали о Сибири, в том числе «и о покойнице Марии Дмитриевне, и о красавице Марине О., которую так ревновала к нему его жена».

Факты, собранные в воспоминаниях Врангеля и Токажевского и в самих «Записках из Мертвого дома» без тени сомнения показывают, что образы поляков, встретившихся Достоевскому, далеки от тех героев, которых он называет «полячками». Но в то же время они объясняют нам и причины антипатии Достоевского к полякам.

И вот меньше четырех лет спустя после выхода с каторги Достоевский параллельно с работой над «Записками из Мертвого дома» пишет «Дядюшкин сон». Он жил тогда в Семипалатинске и переживал великую любовь к Марии Дмитриевне Исаевой. Главным героем «Дядюшкиного сна» писатель сделал впавшего в детство князя К., а сам роман, по верному определению Ледницкого, стал первой у Достоевского сатирой на поверхностную и ненужную европеизацию России. Страдающий склерозом князь рассказывает фантастические истории, в частности о том, как на Венском конгрессе Байрон танцевал



краковяк. «Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк! Я теперь совершенно припоминаю. И пре-ори-ги-нальный был этот поляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер. Но только вос-хи-ти-тельно танцевал краковяк и наконец сломал себе ногу».

Знаменательно, что Венский конгресс, вошедший в историю как «congrès dansé» («танцующий конгресс»), вызвал у Достоевского ассоциацию с краковяком и графом-самозванцем — поляком. Присутствие поляка, притом в такой двусмысленной и совершенно гротескной ситуации на конгрессе, который решал судьбу Польши, выглядит вполне определенной насмешкой.

В «Дядюшкином сне» впервые является фальшивый поляк, который выдает себя за аристократа, а потом оказывается человеком низкого происхождения — кухмистером или лакеем. Фальшь страдающих на каторге поляков была результатом вовсе не того, о чем писал Стемповский: что они были в привилегированном положении, страдали так же, как русские, но жили в мире надежды, — в ней воплощалась зависимость польской шляхты от западной культуры и западных идей. В схеме фальши Достоевский выразил свое убеждение в том, что старая польская родовая шляхта, отличающаяся «элитаризмом» и почитающая светские формы, — по сути дела прислужница буржуазной Европы. Столь же неубедителен и аргумент Ледницкого, согласно которому Достоевский, изображая поляков как фальшивых графов, обнаружил все признаки комплекса вины. Достоевский, снedaемый идеей своеобразного мессианизма, не видел нарушения нравственного закона в том, что Польша подчинена православно́й России.

Сибирский опыт полнее всего прозвучал и подвергся характерному преобразованию в двух центральных романах Достоевского — «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых».

Выразителен момент появления «поляков» в «Преступлении и наказании». Вот разворачивается драма униженного самолюбия: деклассированная дворянка Катерина Ивановна Мармеладова, чтобы было «как следует», устраивает поминки по мужу. И вот мы видим, как старательно услуживающий Катерине Ивановне «полячок» без ее ведома и согласия «привел с собою еще каких-то двух других полячков, которые вовсе никогда и не жили у Амалии Ивановны и которых никто до сих пор в номерах не видал». А поскольку польскую шляхту характеризовали светские манеры, любезность с дамами, то «полячишки» «сидят чинно рядышком», а когда хозяйка не без иронии приглашает их отведать блинов, поляк «вскочил, раскланивается». А поляк из раньше написанного «Игрока» все время ссылается на «гонор», целует «стопки паньски» и «стелился под стопки паньски» — разумеется, чтобы в конце концов оказаться обыкновенным мошенником.

В «Преступлении и наказании» мы находим и отголосок знакомства с прекрасной Мариной О. Прототипом Катерины Ивановны была Мария Дмитриевна. Как писал барон Врангель, после истории с Ванькой Марину выдали за старого хорунжего. Не исключено, что болезненно ревнивая и неуравновешенная Мария Дмитриевна нередко докучала мужу «пани хорунжиной», своей мнимой соперницей. И вот в «Преступлении и наказании» один из «поляков» называет Катерину Ивановну «пани хорунжина».

Явления поляков в «Братьях Карамазовых» следовало ожидать, так как этот роман подводит итог идейному опыту Достоевского и в то же время насыщен воспоминаниями и реминисценциями из детства писателя. А создавая образ Мити Карамазова, Достоевский воспользовался воспоминаниями каторги: прототипом Мити послужил осужденный за отцеубийство омский каторжник-дворянин Ильинский.

Уже в плане романа «Атеизм» (затем «Житие великого грешника»), который стал зародышем «Братьев Карамазовых», мы обнаруживаем поляка. Герой романа («русский человек нашего общества», который «теряет веру в Бога») «попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины». Эта попытка польско-иезуитского искушения должна была все-таки закончиться счастливо, так как герой «под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога».

Таким образом, можно считать, что образы Врублевского и Мусяловича, польских героев «Братьев Карамазовых», составляли экспозицию к планируемому циклу. Эпизоды, в которых поляки впервые после «Записок из Мертвого дома» индивидуализированы и даже названы по фамилиям, позволяют искать конкретные прототипы среди конкретных лиц, знакомых Достоевскому по Сибири. Поэтому я пошел бы несколько дальше, чем Ледницкий, который, обратив внимание на содержание разговора поля-



ков с Митей и Грушенькой, писал, что «весь польский эпизод в «Братьях Карамазовых» — отголосок споров Достоевского с Токажевским» и что эти фрагменты можно считать примером отличной пропаганды, «когда справедливый протест вложен в уста людей, изображенных дураками, заносчивыми нахалами, которые оказываются шулерами». Но Достоевский не только хотел осмеять польские претензии на независимость, притом «в пределах до семьсот семьдесят второго года», а еще и осмеял своих польских товарищей по каторге. Оба поляка выглядят карикатурой на неразлучную пару — Токажевского и Богуславского. Из «Записок» мы помним, что Богуславский был той стороной, где преобладала духовная сила, а Токажевский отличался силой физической. В «Братьях Карамазовых» Митя подумал, что «маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким». Мусялович — низенький, толстенький, лицо у него — «несколько обрюзглое, почти уже сорокалетнее лицо пана с очень маленьким носиком, под которым виднелись два претоненькие востренькие усики, нафабранные и нахальные», он носит паричок, привезенный из Сибири — поляки же приехали из Сибири! Как мы помним, прообраз Мусяловича был противоположностью сангвиника. Это был «больной, несколько наклонный к чахотке человек, раздражительный и нервный», — писал Достоевский. Таким образом, с Богуславским Мусяловича сближает не физическое сходство, а сходство ситуации. Если бы Мусялович был показан тощим и болезненным, элемент гротеска и карикатуры был бы ослаблен, так как у Достоевского болезненной физиономией всегда характеризуются трагические, страдающие герои.

Зато Врублевский производит впечатление своим ростом и силой. Мы знаем, что каторжники называли Токажевского храбрым. На фотографии Токажевского, приложенной к его воспоминаниям, мы видим человека высокого роста, атлетического сложения. Поэтому сцена, в которой сильного, высокого мужчину выносит на руках в другую комнату невысокий и на вид слабый Митя, приобретает особое значение, так как Врублевского характеризует презрение к русскому обществу. Мы помним, что точно так же и Токажевский не подал руки ни одному из каторжных, «презирая их, — как он сам пишет, — и считая уголовными преступниками». Он писал: «С разбойниками отношения, с начала враждебные, особенно [их] со мной, постепенно выравнились. Мы держались от них, как сами говорили, на *благородной дистанции* [выделенное курсивом по-русски в тексте], они называли нас боярами». Таким образом, можно понять, почему Врублевскому выпала роль ответить на зазвучавшую «залихватскую плясовую песню»: «То есть Содом!» — и использовать словечки типа «пане лайдак», «быдлак».

В «Братьях Карамазовых» мы находим еще несколько подсказок, позволяющих прийти к выводу, что в последнем романе Достоевского полнее всего отозвались сибирские воспоминания. Врублевский — по профессии дантист, что можно считать сатирическим преобразованием часто встречавшейся среди каторжных и ссыльных поляков профессии врача (Ламотт из Семипалатинска). На суде Митя говорит, что дал бы поляку в задаток Чермашню: «Непременно согласился бы (...) Он бы тотчас набрал своих адвокатишек, полячков да жидков, и не то что три тысячи, а всю бы Чермашню от старика оттягали». Как на каторге, так и в Семипалатинске Достоевский знал польских евреев, с которыми поляки были в довольно близких контактах.

Выразительную аналогию найдем мы и в истории Грушеньки и Марины О.: Грушеньку соблазнил поляк, когда девушке было 17 лет, и произошло это, по-видимому, в Сибири; а Марине О. было как раз 17, когда в далеком сибирском городе ее соблазнил молодой русский Дон Жуан, чем воспользовался старый киргиз.

На этом польские мотивы в «Братьях Карамазовых» не кончаются. Ледницкий предполагает, что образ адвоката Фетюковича — карикатура на Спасовича, известного в Петербурге польского юриста и филолога. Следует также согласиться с Ледницким, прекрасным знатоком Мицкевича и Пушкина, что в обвинительную речь Фетюковича Достоевский влил строки Пушкина из стихотворения, посвященного Мицкевичу. И здесь — как в истории с Врублевским, с Грушенькой и Мариной О. — Достоевский искал удовлетворения за обиды, которые претерпел от поляков, и дискредитировал их за особые взгляды, особость которых была тем более неприятной, что принадлежала представителям славянского народа, а значит, тем более заметной и тем менее простительной.



Катажина Яновская

ВСЕЛЕННАЯ К ЧАЮ

Он любил жизнь и держался за нее до конца. Последние восемь лет он половину времени проводил в больницах. Много раз его чудом спасали. Привозили в приемный покой чуть ли не в критическом состоянии, а уже на следующий день он приходил в себя. Выписавшись, он сразу возвращался к своим любимым занятиям: читал научные журналы на нескольких языках, смотрел немецкое телевидение, диктовал статьи для газет. Но в этот раз все получилось иначе. Переход в небытие совершался постепенно, в течение нескольких недель.

Когда он подписывал свои книги, выстраивались очереди. И каждый раз он удивлялся и радовался, что к нему приходит столько людей. Немногие писатели имели таких верных многолетних поклонников, как Лем.

Марек Боровский, лидер партии «Польская социал-демократия»:

— Как-то — дело было в 70-е годы — Станислав Лем подписывал свои книги на Варшавской книжной ярмарке. Я взял с собой все, которые у меня были. Он подписал одну книгу, другую, третью, — наконец, когда я достал очень редкую пьесу «*Yacht Paradise*», он поднял на меня глаза и удивленно спросил: «Я и это написал?» В моей библиотеке 52 книги Станислава Лема. Я прочел почти все, что он создал. «Сумма технологий» заставила меня задуматься, что такое Земля, космос, будущее. Его книги будили мечты. Учили дружить, верить в силу человека. Лем обожал машины, но знал, что по сравнению с ними слабый человек все же всемогущ. Человечность по Лему — это сумма наших слабостей. Благодаря ему я сохранил веру в человека.

Львовское детство

До войны во Львове начали проводить первые тестирования интеллекта. Самый высокий интеллект обнаружился у сына львовского ларинголога Стася Лема. Он научился читать в четыре года. Любящие родители баловали своего единственного ребенка, Стась ни в чем не знал отказа. Очень важную роль в его жизни сыграл отец. Лем часто о нем рассказывал. Под влиянием отца он

пошел учиться в медицинский. Свое детство и юность, проведенные во Львове, Лем описал в книге «Высокий замок».

Петр Мухарский, заместитель главного редактора «Тыгодника повшехного»:

— В середине 90-х я приехал к Лему взять интервью для нашего издания. Во время беседы он рассказал свой сон. Ему привиделись мальчишки, которые в 1939 году уходили из Львова на фронт. В новеньких мундирах с блестящими пуговицами. А спустя несколько недель они вернулись домой: грязные, оборванные, сломленные. Его преследовали эти картины.

О патриотизме он говорил неохотно, утверждая, что слишком много политиков пускает в оборот фальшивые банкноты с надписью «поляк-патриот». Лем предпочитал отшутиться: «Если вы спросите мою жену, насколько я умен и одарен, она ответит, что очень. Но обязательно добавит — после сорока восьми лет совместной жизни, — что жить со мной тяжело, почти невыносимо. Жена оказалась очень вынослива. То же можно сказать о моей любви к отечеству».

После войны Лем вместе с родителями переехал в Краков. Его влекло к литературе. В «Тыгоднике повшехном» он опубликовал свои первые стихи, но видный критик Казимеж Выка без обиняков сказал ему, что великий поэт из него не получится. Во время отдыха в Закопане, куда Лем каждый год сбегал от сенной лихорадки, он познакомился с редактором издательства «Чительник» и сумел договориться о публикации научно-фантастического рассказа.

Писатель

Ежи Яжембский, литературовед, который готовил к печати все книги Станислава Лема, выходившие в краковском «Выдавництве литератком» [«Литературном издательстве»]:

— Польская фантастика развивалась под влиянием Лема, но он об этом и слышать не хотел. Позже она пошла иным путем. Автор «Приключений пилота Пиркса» придерживался мнения, что ничего интересного в этом жанре в Польше так и не было написано. Все на него обиделись.



Обижались, впрочем, не только поляки, но и американцы, которые несколько лет назад лишили Лема членства в Обществе американских писателей-фантастов. Поводом послужила статья «Литература под колесами», опубликованная в газете «Франкфутер альгемайне». Лема раздражало, что в Америке научную фантастику вытесняет фэнтези. Вместо мира, развивающегося на основе научных знаний, там появились эльфы, сказочные персонажи и демоны, в то время как идеи Лема, пусть самые безумные, всегда опирались на достижения прогресса.

Станислав Бересь, литературовед и ведущий телевизионной программы, посвященной чтению, автор цикла бесед со Станиславом Лемом:

— Я разговаривал почти со всеми польскими писателями и могу утверждать, что ни один из них не был так эрудирован, как Лем, причем в самых разных областях науки. Его блестящие всесторонние знания вызывали у собеседников чувство неполноценности. В 1981 г. в Берлине проходил симпозиум, на который съехались ученые со всего мира. Обсуждались научные, социальные и технологические прогнозы, содержащиеся в книгах Станислава Лема. В этом международном сообществе, изучающем вероятность контактов с внеземным интеллектом, писатель был единственным, кто не занимался наукой профессионально.

Ежи Яжембский:

— Он обладал поразительной силой воображения. Однажды, во время пребывания в Советском Союзе, космонавты предложили ему испытать на себе некоторые элементы предполетной подготовки. «В этом нет необходимости, — ответил Лем. — Я в состоянии их представить».

В своих романах, эссе, статьях он постоянно возвращается к одним и тем же вопросам: кто я? Каприз природы или важная часть космического целого? Откуда я пришел в этот мир? Сумею ли я, учась у матери-природы, сравняться с ней в могуществе? Есть ли предел в стремлении к совершенству — как изменить себя, свою натуру, не потеряв самого главного?

Его первые книги («Астронавты», «Магелланово облако»), написанные в духе соцреализма, были полны оптимизма и веры в возможности человеческого познания. До первого полета на Луну все казалось достижимым и близким: и завоевание Вселенной, и встреча с внеземными цивилизациями. Но начиная с 60-х годов настроения

Лема меняются. Это заметно уже в романе «Солярис», герой которого не может общаться с мыслящим океаном, понять его.

Марек Боровский, верный поклонник творчества Лема с 50-х годов:

— Лем понимал, что даже если мы не одни во Вселенной — все равно быстротечность человеческой жизни не позволит нам достичь иных планет.

Итак, он спустился с небес на землю, но увиденное здесь тоже не вдохновляло. Лем формировался в то время, когда принято было считать, что главное для ученого — служить науке. Научное сообщество чувствовало ответственность за свои открытия, его целью был поиск истины. С течением времени наука все больше коммерциализировалась. Теперь ученые стремятся не столько к истине, сколько к славе, наградам и деньгам. Из этой сферы исчезла важнейшая для Лема составляющая — этика.

Ежи Яжембский:

— Сравнив очерки о кибернетике «Сумма технологий» с написанными сорок лет спустя эссе «Мгновение», мы увидим, как менялись взгляды Лема. В первой книге автор верит в победу разума, что бы это ни значило. В «Мгновении» веры уже нет. Наука зашла в тупик. Разум ничего не решает. Теперь писатель ставит вопрос так: «Куда мы идем, каково будущее нашей планеты?» Примечательно, что этот вопрос не равнозначен вопросу о судьбе человечества. Лем не исключает вероятности того, что оно погибнет или его вытеснит иной вид.

Как заметил профессор Яжембский, в мире, созданном Лемом, всё можно совершенствовать, менять, переделывать, исправлять. С одной стороны, такой подход способствует прогрессу, с другой — он опасен, поскольку в подобном мире нет ничего постоянного.

Ежи Яжембский:

— Вопрос, куда движется мир, вплотную приближает нас к сфере трансцендентного, т.е. выходящего за пределы познания. В «Дневнике, найденном в ванне» — очень смешной, как кажется на первый взгляд, книжке — есть дверь, в которую нельзя войти. Тем не менее она существует. У Лема всегда есть какие-нибудь двери — он создает свою, вымышленную трансцендентность. В «Сумме технологий» автор кощунственно замечает, что можно сотворить себе мир, где есть Бог. Писатель как бы говорит: я в него не верю, но понимаю, что есть немало людей, для которых мир без Бога был бы кошмаром.



Философ

Фантазии писателя всегда основывались на знании тенденций развития современной науки — об этом говорит тот факт, что многие его прогнозы сбылись. Сотовые телефоны, виртуальный мир, Интернет несколько десятков лет назад существовали лишь в литературной Вселенной Лема. Все, что он писал о киберпространстве, клонировании, опасности релятивистского подхода к человеку, воспринималось как назидательные сказочки для детей. Сейчас это уже реальные проблемы, стоящие перед человечеством.

В день, когда Лем отмечал свое восьмидесятилетие — 11 сентября 2001 г., — произошло одно из самых драматичных совпадений его творческого предвидения и реальной действительности. «Выдавничество литерацке», с которым Лем сотрудничал много лет, готовилось отметить юбилей своего автора концертом, планировалось даже провести «космические гонки». Когда все: и гости, и юбиляр — собрались в современном, с огромными окнами, зале административного здания в Кракове, кто-то сообщил, что террористы взорвали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Поэтому вместо длинных тостов прозвучали лишь короткие пожелания. Писатель, обычно избегавший публичных мероприятий, был явно раздражен тем, что ему испортили готовившийся несколько недель праздник.

Сначала многие приглашенные подумали, что новость о событиях в Нью-Йорке — просто черный юмор в духе Станислава Лема. Такая мысль была небезосновательна — в романе «Насморк» мы читаем: «Новозеландский турист в знак протеста против похищения в Боливии австралийского дипломата попытался захватить в Хельсинки паломников, направлявшихся чартерным рейсом в Ватикан». В 1976 г., когда вышла книга, эти слова показались нелепыми. В XXI веке они воспринимаются как сбывшееся пророчество, предчувствие характера современных войн. Лем предвидел не только научные открытия, но и их последствия для общества.

«Человек напишет, что Бог на душу положит, а потом его спрашивают: откуда вы знали? Я не знал, мне это просто пришло в голову», — говорил Лем.

Человек

Счастливое детство и юность во Львове дали Лему заряд на всю жизнь. Все, кому довелось с ним встречаться, подчеркивали, что он был душевным, доброжелательным человеком.

Малгожата Ныч, главный редактор «Выдавництва литерацкого»:

— Он был внимателен к редакторам, которые с ним работали, интересовался их здоровьем, искренне переживал, если у кого-то случались неприятности.

Кристина Залесская, редактор «Выдавництва литерацкого», отвечавшая за издание произведений Лема:

— Старшие коллеги рассказывали, что раньше с Лемом было трудно иметь дело, он не принимал никакой критики, часто раздражался. Но когда мы готовили собрание сочинений, работать с ним было одно удовольствие. Он мгновенно отвечал на письма, без проволочки читал корректуру. В своих вступлениях к книгам неизменно благодарил за сотрудничество. Всегда был галантен с женщинами.

Но Лем бывал и капризным, и импульсивным, и колючим. Журналисты его боялись. Он мог выставить за дверь телевизионную съемочную группу, если ему что-нибудь не понравилось.

Малгожата Ныч:

— Время от времени он пугал нас тем, что в данный момент рассматривает потрясающе выгодное предложение, поступившее от другого издательства. Я трепетала от мысли, что он от нас уйдет. Мы тут же начинали с ним новые переговоры. Лишь с течением времени я поняла, что это просто необходимый ему ритуал.

Станислав Бересь, литературный критик:

— Я читал Лема с детства. В жизни моего поколения он сыграл важнейшую роль. Его книги позволяли уйти от социалистической действительности. Я начал публиковать наши с ним беседы незадолго до введения военного положения, а после ездил к нему в Краков в течение многих месяцев. Встречали меня в семье Лема всегда очень гостеприимно. Мы разговаривали в кабинете, попивая зеленый ликер и куря сигареты «Салем». Когда становилось темно, писатель не зажигал света. Говорил, что так лучше разговаривается, — и действительно, проблемы земного и небесного в сумерках казались более ясными. Лем часто вынимал слуховой аппарат из уха и просто говорил. Мы общались в стиле «учитель-ученик».

Идиллии пришел конец, когда Станислав Бересь опубликовал статью о первых романах Лема, написанных в духе соцреализма.

Станислав Бересь:



— Во время наших бесед он не хотел о них говорить, избегал этой темы. И я решил сам написать статью. Когда ее напечатали, я получил от Лема письмо, где он выразился примерно в том духе, что я законченный болван и он порывает со мной всяческие отношения. Обиделся на двадцать лет. После мы подготовили новый вариант бесед с писателем «И сказал Лем» — и надо же было такому случиться, что кто-то в Канаде, не ставя меня в известность, перепечатал ту мою злополучную статью. Большие мы с Лемом никогда не встречались. Мне жаль, что наше знакомство так закончилось.

Самый лучший дядюшка на свете

Михал Зых, издатель, племянник Станислава Лема:

— Я не встречал другого столь же удачно-го брака, как у дяди. А еще Станислав Лем был самым лучшим дядюшкой на свете. Когда мне предстояло принять важное решение, я всегда спрашивал себя, что бы сказал об этом дядя Станислав. Он был благородным человеком; если я делал что-то не так, он никогда не давал мне этого почувствовать. Когда я женился, он сказал моей жене, что теперь она член нашей семьи. Для него праздник без большого числа близких за столом не был праздником.

Общаясь с Лемом, невозможно было избавиться от ощущения, что в нем сидит ребенок, всегда готовый к шуткам и проказам.

Ежи Яжембский:

— Тот, кто решает заново создать Вселенную, не может не быть ребенком.

Моника Лем, невестка писателя:

— Когда у меня болели родители, свекор постоянно о них спрашивал, а когда их не стало, очень мне сочувствовал. Я ощущала, что он понимает мои переживания. В нем, с одной стороны, жил ребенок, сорванец, полный любопытства к окружающему миру, а с другой стороны, когда обстоятельства того требовали, он проявлял сердечность зрелого человека, который не отгораживается от реальности.

У Лема была слабость к автомобилям и слабостям — он обожал халву. Он не любил дальних путешествий. Хорошо ходил на лыжах. Сторонился тусовок, избегал многочисленных собраний. Лучше всего ему было дома. Ян Юзеф Щепанский, ныне покойный, был его близким другом. Дружил Лем и со Славомиром Мрожеком. Когда тот

приехал в Польшу, они несколько раз встречались. Вместе провели Сочельник. Потом их контакты стали редкими.

«Каждый из нас замкнулся в своей старости», — заметил по этому поводу Станислав Лем.

Михал Зых:

— Для дяди старость не была катастрофой. Тяготы, связанные с возрастными изменениями тела, он сносил безропотно. Для него главным был интеллект, который оставался при нем до последних дней.

Находясь дома, писатель большую часть дня проводил в кабинете, который по количеству книг и научных журналов на разных языках походил на читальный зал. Из большого окна открывался вид на прекрасный в любое время года сад.

Михал Зых:

— Первым звуком в доме был стук дядиной пишущей машинки. Когда он еще работал, то садился за письменный стол в пять утра. Позже он варил для всех кофе, отвозил тетю на работу, а сам ехал в магазин за продуктами. Вижу, как он сидит на кухне, которая была средоточием семейной жизни, или в гостиной — в наушниках перед телевизором. Он смотрел по немецкому телевидению глуповатые сериалы, а потом едко их высмеивал. Сейчас дверь в кабинет, который в детстве был для меня полон волшебства, всегда открыта. Без дяди комната стала другой.

Моника Лем:

— Он жил на своем острове, в окружении любимых книг и газет. Входя в его кабинет, ты попадал в другой мир. Я уверена, что он всегда будет жить в памяти Ани, его внучки. Семь лет назад, когда она родилась, он от радости вбежал к нам на пятый этаж, как мальчик. Взял малышку на руки, чтобы полюбоваться новым существом. Мне казалось, что в Ане он увидел продолжение самого себя, ощутил эту преемственность.

Зимой он уже почти не выходил из дому. Но школьный спектакль, который давали по случаю Дня бабушки и дедушки, где играла внучка, он пропустить никак не мог.

«После смерти нас ждет небытие, и это вселяет оптимизм, — сказал несколько лет назад Станислав Лем. — Ужасно было бы миллион лет всматриваться в лик Господа Бога, зная, что и в ближайшие миллион миллионов лет придется делать то же самое. Большую скуку трудно себе представить. Мы не созданы для вечности. Но, с другой стороны, в небытие тоже никто не торопится».



Пётр Черёмушкин

СКУЛЬПТОР ЗЕМЛА: «ДУША — НЕ ЗУБНАЯ ПАСТА»

Каждый раз, возвращаясь в Польшу, снова и снова удивляюсь появлению все новых памятников и мемориальных досок, словно поляки торопятся увековечить в граните, бронзе и мраморе жертв и героев своей трагической истории. Чтобы была увековечена та отдельная личность, из каких складывается нация. Стараются сделать то, что им не удавалось на протяжении десятилетий. И все время находятся герои, которых то ли по стечению обстоятельств, то ли из-за политической конъюнктуры забывали увековечить. Причем забывали как деятелей исторического масштаба, так и людей, сгинувших в массовых высылках и в битвах, где стратегический смысл оказывался важнее человеческих жизней. Но в польских монументах главное — запечатлеть личность, ее свободу, в этом и есть стратегический смысл. Какое-то особое чувство охватывает, когда замираешь у очередного барельефа, бронзового портрета, мемориальной доски. Помню, как в 70-е годы советских туристов удивляло, что на варшавских домах висят доски, на которых указано, сколько поляков гитлеровцы расстреляли на этом месте.



Даже в советские времена традиция создания поляками высокохудожественных памятников процветала, вызывая живой интерес в мастерских московских и питерских скульпторов. Но за последнее время в польской скульптуре было сделано много нового, и это новое в Москве зачастую неизвестно. Вот список лишь некоторых монументов, открытых только в Варшаве с 1995 года: памятник погибшим и убитым на Востоке (скульптор Мариан Бискупский); памятник битве при Монте-Кассино (скульптор Густав Земла); памятник Польскому подпольному государству и Армии Крайовой (скульптор Ежи Станишкис) — у этого памятника возложил венок президент Путин во время официального визита в Польшу; памятник Генрику Сенкевичу (скульптор Густав Земла); памятник королю Яну III Собескому — первому гражданину Вильянува (скульптор Эдвард Елинский); памятник жертвам сталинизма (скульпторы Дариуш Ковальский и Славомир Коженёвский); памятник Тарасу Шевченко (скульптор Анатолий Куш); памятник полякам — жертвам теракта 11 сентября в Нью-Йорке; памятник жертвам резни на Волыни в 1943 г. (автор Казимеж Данилевич); памятник летчикам, погибшим на войне 1939-1945 гг. (авторы Марек Роджер Дзевульский и Тадеуш Антоний Дзевульский); статуя Христа Милосердного «Иисусе, уповаю на Тебя» (автор Густав Земла, реализация при участии Павла Петрушинского).

Нетрудно заметить, что в этом большом списке одно имя повторяется трижды — Густав Земла. В сборнике персоналий выдающихся деятелей польского искусства «Художник и его произведения», выпущенном в середине 70-х, скульптор Густав Казимеж Земла стоит в одном ряду с режиссером Анджеем Вайдой и композитором Кшиштофом Пендерецким. Этот современный польский ваятель был первым из мастеров монументальной скульптуры, о котором я услышал, когда учился изобразительному искусству в Москве. В мастерской моего учителя по рисунку скульптора Владимира Петровича Жучкова висела фотография знаменитых «Крыльев» Земли, установленных в Катовице в начале 70-х. «Крылья», напоминая греческую Нику, представляли собой взметнувшиеся знамена, абст-



рактно, а не соцреалистически выражая идею Силезского восстания. В них была заложена необыкновенная, зачаровывающая, увлекающая энергетика, очень точно передававшая польскую непокорность. Как я потом прочитал в монографии о Земле, «скульптурное творчество Земли характеризует сильное чувство драматизма, а также метафоричность и символический характер формы».

«Эта скульптурная композиция многозначна. Что олицетворяют эти мощные пластические объемы-крылья? Руки, сжатые в кулак? Развевающиеся знамена? А может быть, всё вместе? Воссоздавая разные страницы отечественной истории, Земля своим искусством утверждал право народа на свободу». («Крылья скульптора Земли» // «Эхо планеты», 1990, февраль/март).

В конце 80-х, когда я оказался в Польше студентом-дипломником, изучавшим журналистику и политические науки (так уж повернулась жизнь, что я не пошел по стезе ваятеля), мне очень захотелось встретиться с Землей. Но это оказалось непросто — Земля был обижен советскими и польскими коммунистическими властями. После введения военного положения в Польше он отказался от членства в ПОРП и немедленно лишился заказа на создание памятника

польской армии, формировавшейся в Рязани, на Оке. Он выпал из фокуса официального внимания и пребывал в полуопале. После долгих уговоров и при содействии проректора Варшавской академии художеств Рышарда Винярского Земля наконец-то согласился на встречу. Тогда перестройка была в самом разгаре, и Земля сказал: «Ну что ж, если Вайда встречается с вашими журналистами, то и мне можно». Разговор, который состоялся у нас тогда в Варшаве, в здании Академии художеств на улице Краковское Предместье, был опубликован в журнале «Эхо планеты» только через два года, в 1990 году. Надо сказать, что материал увидел свет не без проблем. Редакция «мариновала» статью о скульпторе несколько месяцев — и не только потому, что политическая подоплека была не совсем ясной. Я был тогда начинающим журналистом и, не обладая должным литературным опытом, не всегда мог точно выразить свои мысли. К чести моих тогдашних редакторов должен признать, что материал получился очень красивым и обильно иллюстрированным. Мне показалось удивительным, что официальная опала не лишила его работы. Он получил огромный заказ от римско-католической Церкви на скульптурное убранство костела святого Максимилиана Кольбе в Мистшеёвицах под Краковом, который открыл и освятил Папа Иоанн Павел II. Ничто другое не могло лучше продемонстрировать роли Церкви в общественной жизни Польши как альтернативы не имеющему поддержке государству.

В последующие мои приезды в Польшу я увидел много других работ Земли. Специально съездил в костел под Краковом и посмотрел на рельефы под общим названием «Крестный путь». Скульптор открылся в новом качестве — как религиозный философ, осмысливший и отразивший пластическими средствами мученическую смерть Христа. В 1998 г. Земля спроектировал статуэтку Ники для польской литературной премии. В Кракове, в епархиальном музее, я увидел великолепный портрет Иоанна Павла II, который среди множества других его портретов, появившихся в Польше в последнее время, на мой взгляд, не только исполнен с наибольшим сходством, но и особенно нетривиален по пластике. Автором портрета был Земля. И вот весной 2004 г. в университетском книжном магазине на Краковском Предместье я обнаружил недавно изданную книгу о Земле. В прекрасно оформленном альбоме было множество не виденных мною работ, в том числе и памятник героям Монте-Кассино, установленный в Варшаве в 1999 г. в парке Красинских и между улицами генерала Андерса и Героев гетто. Однако в длинном списке зарубежных публикаций о скульпторе (в том числе и российских) я не обнаружил своей давней статьи о нем и понял, что до Земли она так и не дошла. И отправил ксерокопию



текста по варшавскому адресу. К моему удивлению вскоре пришел ответ, написанный красивым почерком черным пером для каллиграфии. Земла благодарил за статью и обещал включить текст в альбом, когда он будет переиздан. В конце письма он неосторожно выразил надежду на то, что мы еще раз встретимся, за это я и ухватился и позвонил скульптору прямо из Москвы, когда в очередной раз собирался в Польшу. Земла согласился на встречу.

13 октября 2004 г. я вошел в дом скульптора в варшавском районе Коло. Прежде всего Земла сообщил мне, что пристройка, где разместились его мастерская, выстроена из досок, оставшихся от помоста, с которого Иоанн Павел II освящал костел в Мистшеёвицах.

Как и любая мастерская скульптора, студия Земли представляла собой причудливый мир состоявшегося творца, где модели будущих замыслов соседствуют с бронзой и гипсом созданного за многие годы. Хозяин гостеприимен и приветлив, несуетлив и изыщен. Пропускаем по маленькой. Наш разговор приобретает скорее характер личной встречи, нежели интервью.



— *Вы оставили профессорскую должность два года назад. Как протекает ваша жизнь сейчас? Есть ли у вас заказы?*

— Заказы сейчас выглядят не так, как раньше. И интересно, что за последнее время я сделал больше памятников, чем прежде. Хотя я и не считал. Работы много. С этой работой так: человек работает, работает и не всегда отдает себе отчет в том, зачем он это делает. Это уже входит в кровь, как питье водки или курение сигарет. Человек уже не может без этого жить. Но настает период, когда человек ничего не делает. Я называю это перезарядкой аккумуляторов. Вот посмотрите на одну из моих скульптур, над которой я работаю уже очень долго и никак не могу закончить. Сегодня приезжал литейщик и мы обсуждали, сколько будет стоить перевести ее в бронзу. Он назвал довольно высокую сумму, а я стал думать, кто у меня купит эту работу. И зачем я это делаю. С другой стороны, я занимаюсь скульптурой не для того, чтобы продавать. Большинство работ в этой мастерской я бы не продал никому. Есть потребность заниматься скульптурой. Работа — внутренняя потребность. И, может быть, ее результаты кому-нибудь пригодятся. Скульптура — это такой вид искусства, который привлекает немногих. Он стал несколько старосветским. Визуальная культура, доминирующая в обществе, превратилась в общий крик, хаос. Исчез некий порядок, гармония. Это грустно, но с этим ничего не поделаешь.

— *Вы считаете, что жанр скульптуры умирает?*

— Он не умирает для узкого круга тех, кто действительно интересуется скульптурой. Скульптура выполняет свою роль, если превращается в памятник. Тогда она существует в пространстве, в архитектуре, и люди вынуждены с ней общаться. И тогда она становится необходимой. Если же тема скульптурного произведения навязывается сверху, то людей это интересует гораздо меньше.

— *В течение моих последних приездов в Польшу я заметил, что появилось много новых памятников и мемориальных досок. И в целом это примеры хорошей скульптуры. Я даже пришел к выводу, что в отличие от нашей российской культуры, искусство скульптуры в Польше имеет более глубокие корни, уходящие в католическую культуру. В России скульптуры изгнаны из церквей.*

— Да, я заметил, что в православных церквях есть иконостас, а скульптур почти нет.

— *Конечно, в некоторых частях России, особенно на Севере, скульптуры можно найти в храмах и музейных собраниях. Например, в Перми есть замечательный музей деревянной церковной скульптуры, еще допетровской. Но сейчас мы говорим о Польше, и мне кажется, что в последнее время*



появилось много новых интересных произведений. Как это согласуется с вашими словами, что это направление искусства не востребовано обществом?

— Вы знаете, то, что я сказал о скульптуре, касается только не скульптуры. Это касается и живописи, и графики, которая теперь находит применение только как прикладная графика. Средства массовой информации, видео, кино, компьютер, телевидение играют роль корма для глаз. Этот корм такой же недоброкачественный как фаст-фуд в «Макдональде». Я бы сказал, токсичный. Конечно, скульптура — продукт творческой активности, и если скульптура стремится к тому, чтобы быть востребованной, то она должна служить человеку, быть понятной и принятой. Я всегда старался, чтобы моя скульптура могла нравиться. И не понимайте меня банально, что я хотел нравиться. Нет. Я всегда стремился установить контакт со зрителем. Но я знал, что смогу установить контакт в том случае, если буду делать вещи прекрасные и понятные. Потому что вещь непонятная создает дистанцию между тобой и зрителем. Все мелодии Моцарта, Шопена, Чайковского мы принимаем сразу, потому что они нам нравятся. Я понимаю, что амбиции некоторых

художников заставляют их делать то, что не существовало до них, что-то оригинальное, какое-то открытие. Конечно, это задача каждого творца, если он хочет быть творцом. Но я считаю, что открытия соответствуют возможностям каждого человека. Я рад тому, что могу сделать хотя бы немного нового. Некоторые считают, что нужно все перевернуть и сделать совершенно по-новому. На такую эволюцию я не способен.

— *В любом случае вы смогли соединить в своем творчестве весьма реалистическое искусство (как ваши портреты — по ним видно, как прекрасно вы знаете законы пропорций и анатомии) с вещами абстрактными, метафоричными, что удивляет. Чем вы объясняете такое сочетание?*



— Портреты — это немного приватная часть моей работы. То, что вы сказали о реалистической части моего творчества, — не самое трудное. Главное, чтобы в портрете была душа. Как добиться этого — вот в чем тайна. Научиться этому нельзя. Это или есть, или нет. Этого не выдавишь, как зубную пасту. Портреты я люблю. Я не делаю их на заказ. Иногда просто придумываю. К некоторым головам не могу придумать название.

— *Вы очень редко обращались к портретам политических деятелей...*

— Нет, нет. Извините. Я делал Ленина.

— *Когда?*

— Сами понимаете — не теперь. Была московская выставка 1974 г. — сорок лет назад. И я привез портрет Ленина, который не хотели размещать в экспозиции. Был генерал Сверчевский, стоял в районе Воля. Но его уже разобрали. А постамент взяли под бюст Пилсудского. Честно говоря, мне жаль тот памятник — я его любил.



Из интервью Густава Землы, опубликованного в еженедельнике «Эхо планеты» в 1990 году:

В сознании людей памятник — это прежде всего знак, отражающий стремления, цели, идеи. Будь то серп и молот, крест, даже свастика — он должен отвечать представлению об идее. Великая идея предполагает соответствующее воплощение. Если я проектирую памятник Мицкевичу или Словацкому, то я обязан найти форму, не уступающую по силе их стихам, — иначе я принижу значение этих поэтов... Скульптура — это остановленное время. Есть даже такое выражение: когда гаснет память людская, дар речи обретают камни. Еще древние египтяне говорили: «Скульптор — это тот, кто продолжает жизнь». Вечность требует уважения. И у вас, и у нас возникло множество памятников, сделанных на минутку, иллюстраций, а не символов. Бесчисленные солдаты с ружьями в руках.

— Упомянутый пример совсем не похож на ваш памятник героям Монте-Кассино. Своей крылатостью он вызывает в памяти открытую в 1999 году «крылатую душу». Это новый вариант тех «Крыльев», с которыми Земла в 70-е ворвался в мир скульптуры. И первый монумент, сделанный ваятелем не из бронзы, а из белого карарского мрамора.

— Я боялся этого материала, поэтому сначала хотел отлить Нику из бронзы. После долгих уговоров отважился. Благодаря этому работа получилась близкой средиземноморской традиции, которую я так люблю. Кроме того, исполнение в оказалось дешевле и проще.

(К способу обрубки мрамора, к обработке фактуры камня Земла подошел необычно, приказав ошершавить гладкие поверхности каменных блоков алмазными пилами. По его мнению, следовало выявить жесткую природу структуры камня — без полировки и зализывания. До сих пор никто подобным образом скульптуру из мрамора не ваял. Главная часть памятника — это скульптура крылатой Ники, появляющейся из раздробленной, перевязанной шарфом-драпировкой колонны. Мощные крылья складываются в форму буквы V — знака победы. Колонна установлена на постаменте, символизирующем вершину горы. Ступени, испещренные бороздами, морщинами ведут к табличке с надписью: «Монте-Кассино — май 1944 года». С левой стороны постамент драматично вздымается вверх. Каменный саван прикрывает прах тех, кому не суждено было подняться на вершину. Кое-где выступают формы брошенных солдатских касок. С задней стороны постамента вырезаны эмблемы пяти польских подразделений, сражавшихся при Монте-Кассино. Сочленения между плитами заполнены специальной закрепляющей пастой и оловянными прокладками, что обеспечивает устойчивость конструкции. На камень нанесено специальное покрытие против граффити.)

— Сначала я делаю сотни рисунков: как кошка осваивает свое место, я осваиваюсь с темой, пространством и идеей, делаю наброски. Под конец выбираю тот, в котором что-то пульсирует, горячий такой, из которого что-то исходит. Ищу синтез, легко узнаваемый знак. В данном случае у нас раненая колонна, окрыленная героизмом. Саван прикрывает тех, кто не дошел до вершины...

Битва при Монте-Кассино, открывшая британским и американским союзникам дорогу на Рим, — это малоизвестный в России, но весьма чтимый в Польше эпизод II Мировой войны, связанный с армией генерала Владислава Андерса. Сформированная в Советском Союзе (в основном из выпущенных по амнистии лагерников) и подчинявшаяся законному правительству в лондонском изгнании, армия





ушла в Иран, а оттуда на Ближний Восток. При высадке союзников в Италии 2-й корпус Польских вооруженных сил был подчинен 8-й британской армии и участвовал в шестидневной битве за занятый немцами итальянский монастырь. Корпус понес огромные потери, но монастырь между Римом и Неаполем взял. Народ сложил о той битве знаменитую песню о «красных маках на Монте-Кассино, которые вместо росы пили польскую кровь». Памятник был создан на пожертвования бывших солдат и офицеров 2-го корпуса, разбросанных по всему миру. Как заявил один из ветеранов, проще было взять Монте-Кассино, чем добиться от чиновников всяких согласований и разрешений.

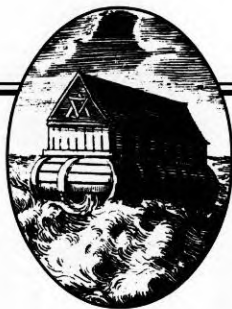
Произведение Земли вызывало живой интерес варшавян. Еще при его возведении пресса одобрительно отзывалась о памятнике. Его даже называли «Ангелы из Бенёва» — по имени скульптурной мастерской под Варшавой. 30 мая 1999 г., в 50-ю годовщину битвы, Ирена Андерс, вдова прославленного генерала, открыла памятник. Вот что писала в этой связи варшавский искусствовед и историк скульптуры Ирена Гжесюк-Ольшевская: «До настоящего времени лучшим послевоенным памятником в Польше я считала катовицкое произведение Густава Земли «Три крыла», увековечившее три силезских восстания. Но сейчас варшавский памятник битве при Монте-Кассино того же самого автора серьезно конкурирует с тем произведением. Это великолепное увенчание творчества профессора Земли. Великолепна идея крылатой колонны и мрамора с воткнутыми касками. И это волнение, создаваемое острыми частями мраморных блоков. Думаю, что подобный монумент — только большего размера — должен стоять на самом Монте-Кассино».

Казалось бы: разве можно ожидать большего признания соотечественников? Но Земля неустоим. Он продолжает работать, и на мой вопрос, согласится ли он взять новый заказ из Москвы, отвечает: «До весны я занят». Поляки продолжают увековечивать своих героев.



В статье использованы репродукции рельефов из цикла «Страсти Христовы» и фрагмента памятника Иоанну Павлу II.

Казимеж Густав Земла родился 1 ноября 1931 года в Ясенице-Рошельной. Учился в Варшавской академии искусств (1952-1958). Преподавал здесь же до 2002 года. «Памятник Силезским повстанцам», «Битва за Монте-Кассино», «Погибшие, но непокоренные» — наиболее известные произведения, обобщающие опыт многолетней работы скульптора. В 80-90-х создал цикл из 40 скульптурных произведений сакрального характера для костела в Мистшэевицах, в 2002-2003 гг. — цикл рельефов на темы Ветхого и Нового Завета.



Марек Щепаник

ШАНСЫ, УКРЫТЫЕ В СУНДУКЕ

Две сельские общины по сей день пользуются правами, данными им в 1605 году императором Рудольфом II. Четыреста лет тому назад семеро жителей села Кадлуб на Опольщине купили себе свободу — а также земельную собственность, которая по сей день приносит доход их потомкам.

Началась эта история в 1605 году. Семеро крестьян из села Кадлуб-Велький решили выкупить себя из крепостной зависимости. Откуда у них взялись деньги, неизвестно, но они обратились к местному помещику — а это был императорский подстолий (заместитель стольника) Иоганн фон Бесс — с конкретным предложением: за две с половиной тысячи талеров предоставить крестьянам свободу «на все времена» и продать крестьянской общине значительную часть земельных угодий, которая состояла из четырех тысяч моргов пахотной земли и лесов вместе с водоемами и корчмами. Фон Бесс предложение принял и весной 1605 г. заключил с жителями Кадлуба соглашение. Правомочность этого соглашения в декабре того же года подтвердил император Рудольф II, обвязав своих наследников соблюдать его.

Документы, скрепленные восковыми печатями, жители Кадлуба сложили в специально для этого изготовленный солидный дубовый сундук. Сундук был вверен попечению доверенных людей.

Сила общины

Часть земли жители села — которое было переименовано в Кадлуб-Вольный — поделили между собой, а остальная часть подлежала совместному управлению. Собственностью общины стали лес, пруды и корчмы. Принципы ее деятельности официально были подтверждены только в середине XIX века, когда община получила



правовой статус. С тех пор на сходах выбирали правление. Затем община разделилась на две самостоятельные общины (лесная и корчемная) с обособленными органами власти, хотя пайщиками обеих были одни и те же люди. Однако возникла опасность раздробления имущества, ибо у первоначальных пайщиков становилось все больше и больше наследников. И жители села пришли к такой мысли: пусть паи наследует лишь

тот, кто одновременно наследует хозяйство. Благодаря этому принципу количество пайщиков общины на протяжении многих лет остается неизменным, а имущество, полученное четыреста лет тому назад, по-прежнему остается в руках проживающих в Кадлубе потомков.

Черные тучи начали собираться над общинами Кадлуба в 30-е годы XX века. На имущество села покушались тогдашние немецкие власти. Жители Кадлуба не испугались и обратились в суд. Главным их аргументом были спрятанные в сундуке документы, возраст которых исчислялся не одним столетием. Даже в суде истцы не выпускали документов из рук, а того, кто охранял сундук, всегда сопровождало несколько жителей Кадлуба. Интересно, что в 1937 г. суд в Бреслау (Вроцлаве) признал их права. И хотя в селе появился назначенный властями управляющий комиссар, община жителей Кадлуба-Вольного просуществовала на протяжении всего военного времени.

Потом уже польская «народная власть» не могла понять, почему село, а не государство должно управлять лесом и постройками. Крестьянам из Кадлуба пришлось еще раз убеждать чиновников, что не без причины их предки записали соглашение на пергаменте. Неожиданно сельские общины поддержал силезский воевода Александр Завадский. В се-



ле говорят: его убедил довод о том, что не может польская рабоче-крестьянская власть уничтожить то, что сумело эффективно противостоять гитлеровскому государству. Неизвестно, так ли было на самом деле, но Опольский воеводский народный совет в конце 50-х годов признал существование общин, возникших на основании декрета императора Рудольфа II из династии Габсбургов.

Возвращение к корням

Сумели общины пережить и преобразования в государственном и общественном устройстве последнего времени. Насчитывающая около 120 пайщиков Крестьянская община мелких собственников владеет 464 гектарами лесов. Она содержит лесника и пилющика, которые под кураторством лесничества осуществляют надзор за лесным хозяйством. Раз в год происходит «раздел», то есть распределение прибыли. Она составляет от 15 до 20 тысяч злотых.

Скромнее выглядит имущество состояние Крестьянской земельной общины, владеющей корчмой.

— У нас менее двух гектаров земли с постройками, в которых размещаются трактир, сдаваемый нами в аренду магазин и квартира. Дополнительных расходов на содержание этого имущества мы не несем, но и о прибыли речь тоже не идет. Ну, может, какие-то талоны на скромные покупки в нашем магазине или на скромное угощение раз в год. Пока что заработанные деньги мы используем для инвестиций в здание, чтобы оно не только окупалось, но и чтобы существовала возможность предоставлять услуги жителям села на достаточно приличном уровне, — говорит председатель корчевой общины Херберт Чая.



В селе все чаще слышны голоса в пользу объединения обеих общин или хотя бы координирования их деятельности для получения большей прибыли. Сегодня многие жители Кадлуба-Вольного, пользуясь двойным гражданством, работают большую часть года в Голландии или Германии.

— Выезды на работу [по-старому, на отхожий промысел. — Пер.] — вещь хорошая, но лучше зарабатывать там, где живешь, — считает Чая. — Это было бы возвратом к корням. Имея в едином управлении наши леса и корчму, можно было бы подумать о каком-нибудь долгосрочном бизнесе, который может всем нам обеспечить выгоду. Нам ни в коем случае нельзя растратить то, что было отвоено нашими предками, — утверждает Кристина Водарчик, хранительница сундука с документами четырехсотлетней давности.



Херберт Чая, ведущий хозяйство на 150 гектарах и возглавляющий региональную Сельскохозяйственную палату, считает даже, что в обеих общинах есть потенциал, который можно было бы использовать для настоящего превращения Кадлуба-Вольного в «село XXI века»:

— Действуя сообща, мы можем обратиться, скажем, за дополнительными средствами в Европейский союз. Ведь не обязательно же ограничиваться только использо-

ванием того имущества, которым мы на сегодняшний день располагаем. Так можно существовать, но не развиваться. Имея лес, здание и умных, трудолюбивых людей, мы можем зарабатывать хотя бы на агротуризме или подумать о каком-нибудь другом бизнесе. Наши предки указали нам путь и предоставили базу. Теперь наша обязанность — распорядиться этим по-умному.



Олег Закиров

ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КАТЫНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Продолжение документальных записок

*...каждый день молюсь за тех,
кто погиб в Катыни.*

Иоанн Павел II

В ходе своего частного расследования мне не давал покоя вопрос: расстреливали ли польских офицеров только в подвале смоленской тюрьмы НКВД или были еще факты расстрелов прямо в Козьих Горах (т.е. в Катыни). Мне было трудно поверить в то, что энкаведисты в 1940 году как фашисты-эсэсовцы стреляли в людей у рва, что использовались гестаповские методы. Только через несколько лет от польского профессора С.З.Здровеского я узнал о совместных совещаниях гестаповцев и энкаведистов в 1939-1940 гг. в Закопане и об обмене опытом друзей по оружию (как сказал Сталин, «союз, скрепленный кровью»). Свидетели И.Титков, П.Климов и др. упоминали о расстрелах непосредственно в Козьих Горах — как бывший следователь я боялся внести противоречие в документы и понимал опасность этого. Уже после половинчатого признания М.Горбачевым вины СССР в уничтожении польских офицеров (13 апреля 1990) юрист Смоленского кооператива «Бутон» (майор КГБ в отставке) Александр Николаевич Смирнов развеял мои сомнения. Он вообще был не типичным ветераном госбезопасности, а исключением, так как с молодым энтузиазмом принял перестройку и искренне ненавидел свое бывшее место службы. Ему было около 60 лет, но он живо интересовался происходившими в стране переменами и был необычайно общителен. Узнав о моих исследованиях, Смирнов оживился и рассказал следующее.

В сквере на Блонье (это центр Смоленска) его знакомый, бывший сотрудник Смоленского управления НКВД С.М.Мокржицкий неоднократно рассказывал ему, что знает, как расстреливали в 1940 г. польских офицеров, потому что лично участвовал в расстрелах. В 1940 г. Мокржицкий служил в комендантской службе под командованием И.И.Стельмаха. Помимо прочего, они занимались и расстрелами. Расстрелы производились в Козьих Горах, около дач УНКВД. Группу пленных польских офицеров (около десяти или более человек) заводили в специально огражденное дощатым забором место, строили в одну плотную шеренгу (плечом к плечу) и устраивали перекличку. Палачи из команды Стельмаха, в том числе и сам Мокржицкий, с пистолетами в руках прятались за забором, у которого стояла скамейка. После окончания переклички они тихонько вставали на скамейку и стреляли полякам в затылок. Пока одни оттаскивали трупы расстрелянных в ров, другие сотрудники Стельмаха прибирали место расстрела, сыпали свежие опилки и приводили новую группу офицеров...

В первый момент я не мог поверить рассказу Н.Смирнова, но он сказал, что это слышал не только он, но и другие, назвал даже одного из присутствовавших при разговоре — Николая Ивановича Кузьмицкого. Эту информацию я сразу передал журналистам и генеральному консулу Польши в Москве Михалу Журавскому. Интересно, что позже, читая автобиографическую книгу Анджея Вайды (отец которого погиб в Катыни), я прочитал слово в слово вышеприведенное описание. Оказалось, что кто-то из польского посольства сразу ознакомил с моей информацией великого режиссера, который в то время случайно был в Москве.

Страхи мои были напрасны, так как через несколько лет, в ходе следствия по этому делу, предоставленная мною информация подтвердилась другими материалами и доказательствами. Действительно, были расстрелы в Катынском лесу. В спешке расстреливали по разному — у рва и в самом рву (о чем



мне рассказал очевидец П.Климов). Палачи не могли справиться с таким объемом расстрелов (не менее 250 человек за ночь), и поэтому опыт гестапо им пригодился. По словам одного из участников расстрела польских офицеров, И.И.Грибова, он от усталости и бессонных ночей чуть не сошел с ума. Палачи утопали, захлебывались людской кровью и сами были на грани помешательства. Видимо, И.Грибов не выдержал «перегрузок» и, по словам свидетеля И.Титкова, покончил жизнь самоубийством прямо на чердаке здания управления НКВД по Смоленской области (перерезал себе горло бритвой). Не выдержал «кровавых кошмаров» и П.Карцев (очевидцы говорят, что он рыдал на польских могилах и каялся, в 1948 г. покончил с собой, как и Грибов).

Честно признаться — чем больше я занимался сталинскими репрессиями, тем меньше находил разницы между гестапо и НКВД, между Гитлером и Сталиным.

В настоящее время вся правда и документы по делу №159 (о Катыни) вновь скрываются. Иногда документы прямо фальсифицируются прокуратурой (например, выводы собственного следствия, которые были в постановлении А.Ю.Яблокова от 13 июля 1994). Еще немного, и Главная военная прокуратура вновь заявит, что это дело рук немцев... Впрочем, я забежал далеко вперед, а пока была весна 1990-го, заявление ТАСС о Катыни, выступление М.Горбачева... вся вина за эти преступления сталинизма была свалена на Л.Берию и НКВД. Зная о постановлении политбюро ВКП(б) от 5 марта 1940 г., президент СССР умолчал о нем. Поэтому эйфория тех дней быстро сменилась горечью от недосказанности и неправды (меня особенно возмущало стремление вывести из-под удара руководство компартии и Сталина).

Помню, что объявление о суде надо мной было снято, суд отложен на неопределенное время. Так что благодаря Горбачеву я на себе ощутил временное ослабление травли, как бы точнее выразиться — временную полутравлю (созвучно с полупризнанием, прозвучавшим из уст главы СССР). Длилось это недолго — уже в мае 1990 г. меня вызвали в Москву на Лубянку (КГБ СССР), со мной разговаривали целых пять полковников КГБ, главным среди них был замначальника инспекторского управления КГБ СССР полковник В.В.Иваненко, который позже возглавил госбезопасность России (но ненадолго).

Это был скорее не разговор, а какой-то допрос по-китайски — когда на одного человека набрасываются с вопросами и угрозами сразу несколько человек. Кто-то, помню, задавал вопрос и выходил из кабинета, кто-то заходил и слушал мои ответы. Среди них был и начальник архива КГБ СССР. Анализируя позже эти вопросы, я пришел к выводу, что их очень интересовала степень моей осведомленности о катынском преступлении, а присутствовавший начальник архива мог сразу ее определить. На мои слова о том, что начальник архива КГБ СССР лучше меня знает все тайны катынского преступления, и на прямой ему вопрос, хранятся ли еще у него в архиве документы о Катыни, архивист многозначительно усмехнулся и не ответил. Помню, всемогущий Иваненко угрожал мне и вновь предлагал уехать из Смоленска в любую точку (географическую) страны. Иваненко был рьяным исполнителем воли председателя КГБ СССР Крючкова, но это не помешало ему при Ельцине занять должность руководителя безопасности. Стремясь сохранить секреты КГБ о катынском убийстве, они как профессиональные покеристы не открывали передо мной карты — это лишний раз доказывает наличие важных документов об этом преступлении в архиве КГБ (в том числе, думаю, и в архиве Первого главного управления КГБ — разведки). Выходя из здания центрального аппарата КГБ СССР, я невольно вспомнил пошлую шутку председателя КГБ Крючкова, что внешние двери кабинета стерты больше, чем внутренние. Да, где-то здесь был подвал, в котором производились расстрелы жертв сталинских репрессий... Проходя мимо памятника «железному Феликсу», я еще не знал, что вижу его в последний раз. В тот же день я уехал из Москвы поездом в Смоленск к месту службы, хотя руководство Смоленского УКГБ питало надежду на то, что я уже не вернусь в их вотчину.



Ежи Фицовский

СТИХОТВОРЕНИЯ

Столетняя женщина

я уж думал что это я
а это столетняя женщина
та что живёт во мне

благодарит меня за прошлые
и будущие годы
говорит возьми их себе
что мне до них

было и было
в ожидальнях ожидало
в недождальнях проходило

я вот себе говорит
возьму напоследок
пучок укропа
для малосольных

а ты делай что хочешь
ты младше на сто моих лет
говорит старая женщина
та что живёт во мне

я вот только ещё приведу себя в порядок
приобраться-то не успею
и сама закрою глаза

а ты закрой за мной





Множась в полёте

Пётреку Золимеру

грачи предвечерние
множатся в полёте
вихрем
под охраной
пастыря направлений
более незримого
чем ветер

грачи вечерние
послушные
принуждению свободы
врассыпную
летят
над Жолибожем
без счёта и расчёта
не слишком высоко
недостаточно низко

хором однонаправленным роем
благовестят всё гуще и гуще
сверх моей веры
а я поддакиваю бескрылый
со дна площади Инвалидов
на которую они упадут вот-вот
как только над Жолибожем
превратятся в ночь



Замеченные опечатки

вместо
вместо
должно быть
должно быть

вместо
должно быть
должно быть
вместо





Деревьям на закате

такая туча а не гремит
такое зарево
и ничего

лес не убегай из леса
происходи в себе
по-своему
сосновому

ты непересчитанный
и ты сосна случайная
не надо нас давить
закат испепелит
только день до зари
вас он не тронет
доброй-вам-ночи
грибов полною

складывайте годы
урожаем времени
в годовые кольца свитки свои
успеете состариться всей гурьбой
и ты сосна тоже

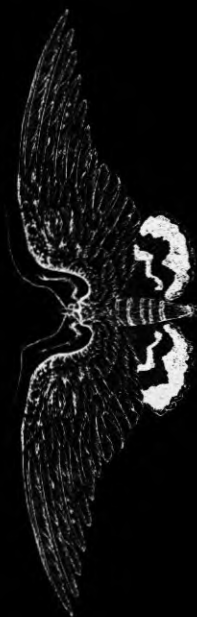


Щебетень

в середине
августа
щебетень кленовая
дикий улей
дикий мёд диких пчёл
высоко в дупле леса
неотёсанного

Боже мой
дикий бортевод
кроме дёгтя
ничего у меня нет для тебя

стряхни с борти
светлое зерно кротости
чтобы оно возшло
прежде чем я однаю
в своей горечи и темноте



Перевод Андрея Базилевского

Из последней книги Ежи Фицковского «Пантарей», «Выдавництво літературке», Краков 2006.



По-польски

Люсьене Рей

Ни в одном ни в одном пейзаже
нету столько столько как тут как тут
терпеливости терпких трав
плоского долготерпенья низин

каждый из нас
врытая в землю ось
проржавевшая до корней
горизонт застыл и ни с места

одна карусель где-то на площади Поражения
в раскраске государственных ярмарок
головокружительно подтверждает
последние слова Галилея
и все-таки она вертится
вращающаяся вписанна



из мозговых извилин
вытягивается и вьется
длинная длинная нитка
ею мы стреножены
ею одержимы
с вываленными языками
фейерверками
юмора висельников

P.S. я хотел бы это дать понять
иноязычным братьям но
опасаюсь что это непереводимо

может взмахами рук фокусника
но не словами я не нашел их
в иностранных словарях
огнеупорной терминологии

я думал о комментарии но
и он недоступен языкам чужеземным
он только завел бы
в бездорожья в тощине торфяники
куда и единорог не забегает
где подыхают русалки
где из века в век доживает дни
эта гулко-немая страна
в выкорчеванных зарослях
истории

Перевод Натальи Горбаневской



Лешек Шаруга

ЧЕЛОВЕК ПОГРАНИЧЬЯ



Пожалуй, Ежи Фицовский (1924-2006) — красочная фигура польской литературной жизни нашего времени. Одаренный необыкновенной восприимчивостью, он был открывателем «иных миров», вписанный в пейзаж польской и европейской культуры. Большой успех принесли ему исследования цыганской культуры, результатом которых стали книги «Польские цыгане» (1953), «Цыгане на польских дорогах» (1965), «Демоны чужого страха. Цыганские припоминки» (1986) и «Цыгане в Польше. История и обычаи» (1989). В его переводе вышли и стихи цыганской поэтессы Папуши. Переводил Фицовский и с других языков — с испанского (Лорку), идиша («Песнь о забитом насмерть еврейском народе» Ицхака Кацнельсона) и русского (сборник ранних, написанных по-русски стихов самого выдающегося польского поэта XX века Болеслава Лесьмяна). Кроме того, Фицовский — исследователь и издатель Бруно Шульца и автор статей о Лесьмяне. Покрови-

тельство двух этих писателей, укорененных в традициях еврейской культуры, заметно в его собственной лирике. В богатом поэтическом наследии Фицовского на первый план выдвигаются две поэмы — «Письмо Марку Шагалу» (Шагал написал к ней цикл иллюстраций) и «Чтение по пеплу» (1979), поразительный сборник стихотворений, посвященных Катастрофе еврейского народа.

Генеалогия словесности Фицовского, идущая от традиций культуры Книги, обращена к тому, что Лесьмян называл «магией слова». Но магия, волшебство, открываемое в языке, переносится и на образ явленной в нем действительности. Есть в этом нечто от «заговаривания», от поэтики чародейских заклятий. Это видно из породненного с живописью Тадеуша Маковского цикла «Маковских сказок» (1959) — одновременно и поэтического «перевода» живописных «сказочных» образов, и создания оригинальных, автономных лирических пейзажей. Эта линия поисков находит свое продолжение в следующих сборниках, что подтверждают их заглавия: «Амулеты и дефиниции» (1960) и «Письмо в картинках» (1962). Эта связь живописи с поэзией усилена музыкальностью стиха. И если Ружевич говорит о радикальном разрыве сегодняшней поэзии с музыкой, то лирика Фицовского — хотя и вырастает из схожего экзистенциального опыта, но из иной философии бытия — представляет собой художественно успешное опровержение этого суждения. Это тоже наследие Лесьмяна, но преобразованное, профильтрованное через уроки авангарда. В этой музыкальности стиха — как и в выражаемой в его поэзии надежде на спасительный аспект общности человеческой судьбы — Фицовский остается поэтом одиноким, «отдельным», почти все время стоящим в стороне от центра, но в то же время создающим контрапункт главному течению поэзии своих польских ровесников, озаменованному катастрофической атмосферой. Он, пожалуй, ближе к Чеславу Милошу, одним поколением старше его, — к позднему Милошу, способному быть «снисходительным» к слабости человека.

Открытость к другим, способность сочувствия — не только черты творчества Ежи Фицовского, но и суть его жизненной позиции. Участник Варшавского восстания, в 70-е годы он включился в движение демократической оппозиции, был членом КОРа, сотрудником самиздатской периодики, одним из редакторов первого неподцензурного литературного журнала «Запис». Он принадлежал к тем, кто в «политику» входит тогда, когда она начинает создавать реальную опасность принципам и ценностям общественной жизни, то есть тогда, когда следует занять позицию гражданского противостояния.



Ян Юзеф Липский

О ПОЭЗИИ ЕЖИ ФИЦОВСКОГО

*Фицовский не переводя дыхания стоит лицом к лицу с историей:
с религиозными и национальными преследованиями,
с унижением человеческого достоинства,
с угрозой жизни человека, с ложью*

С лирикой Ежи Фицовского я сжился, начав обращать на нее внимание в литературных журналах еще до того, как в 1948 г. вышел первый сборник его стихов «Оловянные солдаты». Я читал все его книги: сборники стихотворений, переводы из Федерико Гарсии Лорки, цыганской поэзии Папуши, еврейской народной поэзии; прозу, родственную поэзии; его труды — этнографические (о цыганах) и литературные (о Бруно Шульце!); подготовленные им к печати письма Шульца с великолепными комментариями — одним словом, всё. У нас никогда не было трудностей во взаимопонимании, потому что почти всё нас объединяет. Мы принадлежим к одному и тому же поколению, которое иногда называют «аковским»¹. Не зная друг друга, мы сражались в подполье рядом, в одном и том же батальоне — и оба воевали в Варшавском восстании. Студентами нас соединила любовь к Бруно Шульцу, которая стала началом и фундаментом нашей дружбы. Мы вместе пережили почти тридцать нелегких лет, полных горечи, опасностей, изредка мимолетных радостей — всегда с доверием друг к другу и во взаимной солидарности. Ничего удивительного, что и сегодня, как в 1944-м, хотя в то же время и по-другому, мы стали соратниками: оба оказались в Комитете защиты рабочих (КОРе).

Я не раз рецензировал сборники стихотворений автора «Ксивы», иногда не щадя поэта резко сформулированными замечаниями, но всегда восхищаясь его талантом и испытывая благодарность за его творчество. Прошло немало лет, в течение которых читатели поэзии Фицовского, затронутого дискриминацией и запретами, не имели возможности ее читать. И сегодня, когда я сажусь писать о сборнике «Ксива», да простят мне читатели рецензии такое личное вступление.

Своя картина мира

(...) Он начинал, как многие из его поколения, придавленный грузом опыта войны и потрясенный страшным поражением в нашей битве за Варшаву. Он принадлежал к поэтам, умеренно использовавшим опыт авангарда, хотя одним из его учителей был Юлиан Тувим. В более поздний период он искал вдохновения в польском и цыганском фольклоре. Однако Фицовского ни в коем случае нельзя назвать эклектиком: правда, он учился в разных школах, однако создал свою картину мира и свой поэтический язык.

В период уже полной зрелости, в годы после октября 56-го, окончательно проявилась картина мира в его поэзии. Ее можно охарактеризовать тремя парами противоположностей: 1) ощущение опасности — и необходимость той безопасности, которую дает интимность (тут союзники — повседневно окружающие человека домашние предметы, насекомые, представляющие Аркадию: кузнечик, сверчок; меру миру он находил в собственном теле и теле той, что была ему близка, например замыкая пространство между пальцев ее ладони); 2) страх абстрактного — и жажда конкретного (...); 3) метафорика, противостоящая геометрии скрещивающихся прямых; формы и движения живых существ, не поддающиеся тому, чтобы их рисовали с помощью линейки и угольника.

¹ Аковский, аковцы — от АК, Армии Крайовой, главной силы вооруженного сопротивления в оккупированной нацистами Польше. — *Здесь и далее прим. пер.*



История, всегда присутствовавшая в этой поэзии, была тем, что угрожает человеку. Ибо это новейшая история, внутри которой мы живем уже десятки лет, бесчеловечная страна Абракадабрия.

Подходом, до сих пор господствовавшим в этой лирике, были поиски убежища, укрышка от натиска истории, от агрессивности Абракадабрии, от несущей порабощение абстракции геометрических кубов и квадратов, символизирующих бесчеловечный мир учений, угрожающих свободе. Теперь в лирике Фицовского умолкли сверчки, развеялся образ малой частной Аркадии. Поэт теперь, не переводя дыхания, стоит лицом к лицу с историей: с религиозными и национальными преследованиями, с унижением человеческого достоинства, с угрозой жизни, с ложью. Видно, пришло такое время для поэта — и для нас, — что мы не хотим и дальше смиряться со всем этим, не хотим удовлетворяться полуправдой.

Я всегда боялся публицистики, которая врывается в организм стихов и превращает их в передовицы и фельетоны. И всегда боялся равнодушия поэтов, их бегства на луга и лесные полянки, обманчивых надежд на то, что цвирканье сверчка может оградить их магическим кругом от дурного мира, где уже навсегда останутся избиваемые и брошенные в тюрьму близкие, люди, у которых без анестезии вырывают личность. Надо прибавить, что Фицовский-поэт никогда не оказывался в этом магическом кругу мнимостей, из которого ничего не видно, кроме аркадийского самоудовлетворения. Я мог бы долго приводить цитаты из его стихов, в которых он выкрикивал или шептал свое «нет». Иногда они даже появлялись в печати: было такое время, несколько месяцев 1956-1957 гг., когда в литературной периодике можно было напечатать все, что ни до того, ни после в печать не проходило. В результате эти стихотворения не вошли в сборники, издававшиеся позже. Некоторые я и сейчас могу перечислить: «Улыбка» («Новая культура», начало 1957), «Да славится» («Жице литерацке», лето 1957) «Реабилитация» («Тыгодник заходний», июль 1957), «Плевок» («Жице литерацке», март 1957). Но и позже ему удавалось сказать немало — хотя редко ясно и прямо, ибо говорить приходилось в рамках известной всем пишущим повседневной игры с цензурой. И никогда это не была поэтизированная журналистская поденщина. Так случилось, что сегодня, когда поэт с решимостью, бьющей в глаза из каждой строчки его стихов, отказался от всяких попыток найти частное убежище («Счастья в доме не нашел — счастья не было в отчизне» — эти слова можно было бы поставить эпиграфом к новому сборнику Фицовского), — сегодня он достиг вершины своего лирического творчества.

Универсальный аспект

(...) Обещая в первой строке сборника: «Расскажу тебе историю / пока она не выплыла очищенной от нас / то есть от песка», — он ведет читателя по широко написанной панораме этой истории: от ее катынских корней («Пророческая археология») через память о Казимеже Мочарском² («Эпитафия») и стихи «Гданьский вокзал, год 1968»³ вплоть до сегодняшних дел и реалий: «Молитва за Станислава Пыяса»⁴, «Ноябрьская ночь 11 XI 1978»⁵, «Цыган молчит иначе» — стихотворение, которому предшествует волнующая ссылка на документ «Хартин-77»⁶ о гонениях на цыган в Чехословакии, уже переходящих в истребление (стерилизация цыганок), «Бог родится»⁷ — стихотворение о судьбе украинцев за восточной границей Польши, «Совето» — посвященное мученичеству южноафриканских негров (хорошо, что в сборник включено и это стихотворение — оно придает панораме универсальный аспект).

² Казимеж Мочарский, офицер Армии Крайовой, как и многие другие солдаты и офицеры АК при коммунистах был обвинен в сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами. Приговоренный к десяти годам тюрьмы, был посажен в одну камеру с генералом СС Юргеном Штропом, палачом варшавского гетто, о чем позже написал книгу «Разговоры с палачом» (в ПНР вышедшую в искаленном цензурой виде).

³ В 1968 г. с варшавского Гданьского вокзала уезжали те, кого вынудили эмигрировать, главным образом польские евреи.

⁴ Станислав Пыяс — краковский студент, убитый сотрудниками ГБ в 1977 году.

⁵ «Ноябрьская ночь» — название драмы Станислава Выспянского о начале восстания 1830 года. 11 ноября — дата провозглашения независимости Польши в 1918 году. В 1978 г. в этот день, который до 1939 г. был (и вновь стал после 1989-го) государственным праздником, впервые в ПНР прошли независимые демонстрации.

⁶ «Хартин-77» — крупнейшее в Чехословакии правозащитное объединение, основано в 1977 году.

⁷ «Бог родится» — начало одной из самых популярных в Польше рождественских колядок.



История является поэту на фоне полусказочного пейзажа так часто, что с этого, может быть, стоит начать: мы видим создание мифа, живого мифа. В стихотворении «Бог родится» — пейзаж «удушенных звонниц», зимний пейзаж Покутья, где «по лесам тенета / на беженцев святых / волки их остерегают / снег следы сметает / черемош шепотом подсказывает путь», пейзаж, в который вплавлены фрагменты искаленных церковных скульптур и икон, пронзительный пейзаж гонений, уничтожаемой религии, истребляемой культуры, и все это — на языке символических образов. Природа участвует в этой войне на стороне человека (отсюда, например, очеловечивание Черемоша). Рядом с символикой порабощения и опасности появляется новая символика: виселица, петля, удушение («Григорий и Данило / висят на золотых вервях / нимба»; «затягивают петлю горизонта»; «после помилования / от узла галстука»; «лаконичность веревки»; «вращающаяся виселица»), а также тюремных и полицейских реалий...

Борьба с политической демагогией

(...) До известной степени ново в поэтике Фицовского необычайное богатство средств, усвоенных польской лирикой за последние несколько лет — главным образом младшим поколением, приверженцами т.н. лингвистической школы. Своего рода языковое жонглерство, использование полисемии, разрыв и новое воссоединение фразеологических оборотов — все это перестало быть игрушкой, оказавшись функциональным методом для тех поэтов, основной навязчивой идеей которых стали проблемы порабощения сознания оруэлловским новоязом, политической демагогией, словесной манипуляцией. (...) Это — проявление углубляющегося общественного самосознания, осознания механизмов манипуляции. Применение этих познаний бывает иногда отдалено от причин, которые вызвали к этому интерес, делается автономным, тем не менее сильно согласуется с атмосферой и содержанием социального и интеллектуального бунта, которому мы свидетели. (...) Особенно близко к публицистике Фицовский оказался в цикле стихотворений «Из записной книжки». Это заглавие отклоняет возможные претензии читателя: оно указывает на известную окказиональность, как бы сиюминутность этих стихов, велит условно рассматривать их скорее как сырой материал, чем как завершенное произведение искусства.

Юмор, правда, свобода

Тем не менее это только условность, у этих стихов в сборнике такие же права, как и у всех остальных. Стихотворение «Ой-ей вылетела птичка» так прекрасно по концепции и бравурному осуществлению, что хотелось бы отказаться от всех опасений относительно соединения поэзии с публицистикой. Тезис о том, что пропагандисты отводят внимание граждан от существенных вопросов, как только положение становится опасным («когда (...) Пусто словленное в горсть / в кулак преобразует кисть»), выражен автономно и вполне ясно. Чтобы написать такое стихотворение, надо не только иметь что сказать, но и располагать отлично действующим поэтическим воображением, безошибочно предлагающим образ, ситуацию, тон, и обладать поэтическим чувством юмора, а прежде всего — быть виртуозом языка (...).

Польская поэзия снова — и в этом нет ничего нового — сопутствует народу в его борьбе за независимость и свободу. (...) Сборник стихов Фицовского (...) — особенно хороший знак: это лучший сборник зрелого талантливого поэта. Видимо, поэзии полезна новая атмосфера резкой борьбы за правду, за человеческое достоинство, за жизнь свободную и ради свободы.

Отрывок из рецензии на сборник Ежи Фицовского «Ксива» (Независимое издательство НОВА, 1979), вошедшей в книгу Яна Юзефа Липского «Статьи о поэзии» (Париж, «Институт литературный», 1987). Сокращения сделаны и подзаголовки даны редакцией.

Ян Юзеф Липский (1926-1991), польский литературовед, публицист, политический деятель-социалист. Боец АК, участник Варшавского восстания. В 1976 г. — один из основателей Комитета защиты рабочих (КОР). С 1980 г. деятель «Солидарности». С 1989 г. сенатор.



Януш Одровонж-Пенёнжек

Перевод Фаины Стекловой

ЭТА СТАРУШКА

Дом на улице Кампань-Премьер ничем не отличался от других доходных домов 14-го района Парижа: был он, кажется, пятиэтажный, и входили в него, как и в остальные дома, через ворота, целый день стоявшие настежь; только к вечеру, около полдевятого, хоть зимой, хоть летом, их закрывала старая консьержка мадам Пикон, но и тогда войти было легко: нужно было только нажать кнопку, что-то звякало, и калитка в воротах, поставленная несколько косо и так хитро, что ее не толкнешь, отворялась сама собой.

В 14-м районе консьержки совсем не такие, помягче, чем, например, в 16-м или 7-м, где они поставлены охранять сокровища богатых буржуев; там вслед за каждым звяканьем у ворот отдергивается занавеска в дворницкой, появляется любопытная, всегда растрепанная голова и чаще всего раздается не очень-то любезный вопрос: к кому и зачем? Мадам Пикон тоже была очень любопытна, но, пожалуй, скорее по природе, а не по должности. Впрочем, вечером ей было уже все нипочем. Упившись красным вином «Постийон» в компании своей соседки, толстой и кривоногой бабы, прозванной в доме Альмавивой за черную допотопную шляпу с большими искривленными полями, которую она носила, консьержка спокойно засыпала, без опасений, что кто-то из жильцов мог бы предъявить ей какие-то претензии. Тут жили люди скромные: маляры, мелкие рантье, чиновники, пенсионеры, на первом этаже была прачечная. Из чувства справедливости следует добавить, что мадам Пикон вставала чуть свет, и уже с раннего утра были слышны во дворе ее разговоры с мусорщиками, которые довольно шумно опорожняли алюминиевые баки. Потом она разглагольствовала с почтальоном, который всегда гладил ее черного кота; наконец, уже, пожалуй, около десяти, во дворе появлялся чернявый человечиска, нищенски одетый и с трудом передвигавшийся. Он, фальшивя, затягивал какую-то песню, кончавшуюся пронзительным «звезд-а-а-а-а», а потом собирал деньги, брошенные ему в бумажках, громко благодаря: «Спасибо, господа-дамы»...

Я еще не знал об этих обычаях, впервые поднимаясь на площадку, которую мне указала мадам Пикон, и долго стуча в дверь квартиры, пока не заметил листка, который был, видимо, воткнут в щель, а теперь лежал возле соломенного половика. На нем старомодным почерком было написано, что дверь не заперта. Я прошел через маленькую переднюю с окнами, занавешенными толстыми шторами, через кухню со множеством кастрюль, тарелок и столом, накрытым клеенкой, на котором стояла салатница с большим количеством цикория, потом меня втянуло в длинный, совершенно темный коридор, заставленный ящиками с углем, сундуками, с которыми в последний раз путешествовали много лет назад, коробками и чемоданчиками, на которых теперь был склад щеток и мусорных совков. Среди всего этого укрывались три двери. Я постучал по очереди в первую, во вторую, но лишь из-за третьей отозвался слабый голос, приглашавший открыть дверь.

Комната пани Францишки Яндзвиллович (меня ей уже отрекомендовали в письме) ничем не отличалась от комнат других старушек, живущих несколько десятков лет в одном и том же месте. На фоне нескольких портретов в стиле «belle époque» и безделушек, тоже патристического содержания, сидела маленькая сторбленная старушка, на вид лет девяноста, вся в морщинах, но старательно завитая, и тупо смотрела перед собой. Встав с трудом, она проводила меня, опираясь на палку, к той средней двери, в которую я напрасно стучался, открыла ее и показала мне комнату, точно такую же, как ее собственная. Вот так и получилось, что я остался жить на улице Кампань-Премьер.

Нужно было, конечно, втягиваться в ритм квартиры, но это оказалось нетрудно. Утром приходила пани Мерная, здоровенная баба, топила железные печки (трубы были выведены в давно заброшенные каминны), потом одевала пани Яндзвиллович, и через неплотно прикрытую дверь, заставленную шкафом, я слышал зычный голос пани Мерной:



—Таперича ножку, где ж она только не бывала, эта ножка, сколько она поисходила!

—Хватит уж, хватит, —отвечала ей старушка.

— Таперича тую вторую.

Пани Мерная убирала тщательно, повсюду проезжала гудящим пылесосом, приносила завтрак и была очень говорлива, особенно много распространяясь на тему своего доброго сердца.

— Я ж только так, от доброго сердца, от жалости к вам, пани, такой старенькой, такой слабенькой, так только к вам прихожу...

— За деньги пани графини, — не очень вежливо буркала в ответ пани Яндзвиллович, и это была правда. Иногда, в самое разное время дня, старушку навещала эта самая добрая графиня. Шофер ожидал у ворот, а она поднималась наверх или одна, или — чаще — с другой пожилой дамой, которой она оказывала *charité**, и тогда прославлению и благодарностям не было конца с обеих сторон сразу, так что графиня вынуждена была обороняться: «Оставьте, оставьте, не нужно, не нужно». Вот когда я жалел, что Элиза Ожешко умерла уже много лет назад. Стоит, однако, добавить, что пани Мерная тоже старалась больше, чем обычно: она так терла дверные ручки, что они светились, даже мыла лестницу, хотя это входило в обязанности консьержки, мадам Пикон.

— Тут моя пани графиня ножкой ступит, а за тую дверную ручку ручкой своей возьмется, — говорила она мне, довольная своей работой.

Пополудни к пани Яндзвиллович приходили ее приятельницы, тоже старушки или очень пожилые женщины. Это были польки, русские и еврейки, она разговаривала с ними по-польски, по-русски, по-французски, часто употребляя слова, которые были образованы из французских с польскими или русскими окончаниями и наоборот. Они приносили ей новости, лекарства, фрукты и сладости, которыми потом и я угощался, пока пани Яндзвиллович сухо излагала мне заботы своих приятельниц. Госпожа Смирнофф, например, десять лет тому назад перешла в католичество, обращенная неким ксендзом; с того времени в ее присутствии уже нельзя было говорить по-русски, сама она говорила только по-французски, и вдруг несколько дней назад пала духом, перешла обратно в православие, а все свое состояние, вывезенное в 1917 году и состоящее из золотых слитков стоимостью около пяти миллионов франков, пожертвовала, чтобы умиловить попа-пьянчугу из церкви на авеню Ош. Ее дочь хочет тащить попа в суд, а мать запереть в сумасшедший дом. Госпожа Смирнова плакала и, наверно, была здесь в последний раз.

Временами старушка с самого утра начинала готовиться к визиту сына. Приходил он довольно редко, хотя, видимо, любил ее, но он служил агентом в какой-то фирме и был постоянно в разъездах. Офранцузился он до такой степени, что даже имя свое Роман сменил на Ги, а фамилию, действительно трудную для произношения, но очень старинную, сменил на распространенную Дюпа, и плевать ему было на то, что по-польски это звучало не совсем прилично...

— Литвин завзятый, — говорила о нем с гневом пани Яндзвиллович, — такой же, как его отец.

В первый же день я сразу открыл — это было вовсе не трудно, — что пани Францишка недолюбливает второго жильца, моего соседа справа, занимавшего комнатку возле кухни. Собираясь в те края, она стучалась ко мне и поручала проверить, нет ли там его.

— Не наткнусь я случайно на этого подонка?

Оценка была недвусмысленной. Морис был тучный архитектор с глазами навывкате, словно у лягушки, еще молодой, но со времени контузии на алжирской войне у него явно не хватало винтика. Он был большой гурман и, когда приходил вечерами домой, долго хозяйничал на кухне, готовя себе салат, жаря картошку и бифштекс на оливковом масле, потом все это съедал с большим аппетитом, запивал вином «Кот де Прованс», о чем свидетельствовали пустые бутылки. Не брезговал он и кальвадосом; когда я заходил к нему, он всегда меня им угощал, зная, что поляки предпочитают водку. Должен

* Милосердие, благотворительность (фр.).



признать, что, несмотря на свои чудачества, был он человеком спокойным и обвинения пани Яндзвиллович были несправедливыми, возникали же, по-видимому, из неприязни старушки к жильцам вообще, ибо после смерти мужа она уже много лет была вынуждена держать их.

— Было у меня масло, он съел; был у меня сыр — он съел, было у меня яичко — он съел, — упрямо повторяла она, тупо уставившись перед собой, но, может, это было всего лишь проявление нервной депрессии, которой она была подвержена.

Морис приглашал меня к себе, и я смотрел на его картины. Он писал заходы солнца над бурным морем, но не это убеждало в отсутствии у него того самого винтика, потому что на Монпарнасе каждый рисует как ему вздумается. Хуже было другое: как только он брал в руки кисть, он начинал петь, но и в этом еще не было бы ничего странного, — однако пел он всегда одно и то же. Больше всего ему нравилось имя Гарибальди, оно-то и было единственным словом в его песне собственного сочинения, состоявшей только из двух нот, пониже и повыше, и кончавшейся долгим, очень долгим тремоло. Хуже всего бывало в осенние и зимние воскресенья, когда он не выезжал на пленэр, а того хуже, если одновременно пани Яндзвиллович впадала в депрессию, глотала таблетки и шептала на разный манер — то медленно, то быстро, то тихо, то громко, — только одно слово: десять, десять, десять, десять...

В общем-то мне было очень хорошо в квартире на улице Кампань-Премьер, но в такие минуты только вид мадам Пикон, о чем-то разглагольствовавшей во дворе с Альмавивой, возвращал мне веру в самого себя...

Поздними вечерами Морис принимал у себя мадам Жермен, и тогда, к счастью, Гарибальди стихал. Она приходила с собакой, пожилой рыжеватой дворняжкой, неуклюжей и толстой, которую я не любил, так как она рычала на меня; наконец, как часто бывает, она была похожа на свою хозяйку. Мадам Жермен оставляла ее на кухне или в передней. Пани Яндзвиллович тоже не любила обеих. Ненависть, которой она дарила Мориса, стократ усиливалась и переносилась на мадам Жермен, стоило ей только появиться в квартире. Действительно, мадам Жермен, лет на двадцать старше Мориса, вроде бы не была ему подходящей подружкой, но кто может быть судьей в подобных делах — видно, подходила, раз была. Это подтверждали и отголоски, долетавшие из-за стены, бывало, и поздно ночью. Но всякий раз, когда вечером грохала входная дверь, пани Францишка не могла с эти примириться и, несмотря на трудности передвижения, разнервничавшись, ходила по своей комнате, постукивая палкой, наконец, разгневанная, стучалась ко мне, с губами, сжатыми подковой.

- Что, уже пришла к нему эта... старушка?
- Да ведь она не старушка!
- Старушка! Вы не знаете, ей уже шестьдесят... шестьдесят... девять!
- Не может быть, она выглядит на пятьдесят с небольшим.
- Да ей уж, наверно, все семьдесят стукнуло!
- Кто мог бы подумать...
- А мать этой старушки...
- Сама такая старая, а еще и мать жива?
- А вот и жива! И совсем парализованная!...

Подобный разговор повторялся каждый вечер, и не могло быть и речи о том, чтобы, убедившись, что мадам Жермен пришла, пани Францишка пошла за чем-нибудь на кухню. Засыпала она поздно, выпив успокоительные и сонные порошки. Утром, в халате, она снова стучалась ко мне:

- Вы не знаете, вышла уже от него эта... старушка?

Но однажды вечером я услышал такое, что меня встревожило. Пани Яндзвиллович впала в нервную депрессию и повторяла на разные лады то тише, то громче, то быстрее, то медленнее одно и то же слово: отрав, отрав... отрав, отрав...



Уже лежа в постели, она вызвала меня к себе, плакала, но решительно объявила:

— Сегодня ночью покончу с собой. Отравлюсь. Я беспомощно пытался ее успокоить.

— Но я вас в завещании упомянула, вас не выбросят из комнаты, как этого... подонка, вот здесь и письмо об этом, — она указала на конверт, лежащий на камине.

Я сердечно поблагодарил, ибо для меня, откровенно говоря, комната была удобной, и со всех ног бросился на улицу, чтобы позвонить Ги Дюпа. Почта на бульваре Монпарнас была уже закрыта, на Распае автомата не было, я вынужден был бежать к метро «Вавен».

— Да не принимайте вы близко к сердцу истерики маман, — ответил ее любящий сын. — Она уже двадцать лет собирается отравиться, много раз уже пробовала. Самое большее — сделают промывание желудка. Впрочем, заберите на всякий случай к себе все ее лекарства и порошки.

Я так и сделал, но несмотря на это ночью долго был настороже. Из комнаты пани Яндзвиллович не доносилось ни звука: видно, наплакавшись, уснула.

Наконец где-то около трех часов я впал в тяжелый сон, от которого никак не мог окончательно пробудиться: голова была тяжелой, глаза не открывались. Газ! Верно — в комнате пани Яндзвиллович был в стене какой-то старый кран. Мысль промелькнула у меня в голове и исчезла; видно, и я отравился, в дверях щели, — подумал я, теряя остатки сознания.

Кто-то тербил меня за плечо. Я собрал все силы, чтобы открыть глаза. Воздух был уже другой. Надо мной стояла пани Францишка, окно было открыто настежь, она говорила, как обычно, медленно и даже с ожесточением:

— Это я открыла газ... Но уже и закрыла. Вы не слышали, ушла от него эта... старушка?

Из книги «Парижские рассказы», Варшава, «Читательник», 1963

Януш Одровонж-Пенёнжек (1931 г.р.), прозаик, историк литературы. Изучал польскую и русскую филологию. Готовил к изданию книги, прежде всего сочинения Адама Мицкевича. С 1972 г. - директор варшавского Музея литературы, высоко ценимый музейными работниками всего мира. В трудных политических ситуациях сохранял независимость руководимых им учреждений. Член многих польских и международных литературных и музейных организаций. В 1999-2003 гг. - председатель главного правления Общества польских писателей. Автор многочисленных историко-литературных очерков и рассказов. Самый известный, многократно переиздававшийся сборник рассказов «Коктейль у княгини Георгиевой» содержит воспоминания о встречах автора с польской эмиграцией на Западе, которая для отвода глаз представлена как русская.



ПОЭЗИЯ ПОВЫШАЕТ ПРЕСТИЖ ГОРОДА

Беседа с Артуром Буриштой

 **biuroliterackie.pl**

С 7 по 9 апреля во Вроцлаве прошел 11-й фестиваль поэзии «Порт Вроцлав». Накануне мы встретились с его организатором, 34-летним директором издательства «Бюро литерацке» («Литературное бюро») Артуром Буриштой. Надо сказать, что сама его издательская деятельность тоже начиналась с фестиваля поэзии.

— Мы существуем уже десять лет, сначала в Легнице, потом во Вроцлаве. Первый наш фестиваль прошел в июне 1996 г., и это положило начало всей нашей деятельности. Со временем, по случаю следующих поэтических фестивалей, мы стали маленькими тиражами выпускать книги. Например, тираж нашей первой книги «Три холодные страны» Мартина Светлицкого составил 99 экземпляров. Постепенно наша деятельность приобретала размах. Появились книги зарубежных авторов. Первыми были четыре книги ирландских поэтов, в частности, нобелевского лауреата Шеймуса Хини, все в переводах Петра Зоммера. Сегодня, после десяти лет работы, на нашем счету уже свыше ста книг — как известных польских поэтов, так и дебютантов, так как мы делаем ставку на молодых. Издаем мы и зарубежных авторов. Вначале мы интересовались английской поэзией. Мы можем похвастаться, что издали больше половины всех опубликованных в Польше после войны книг английских поэтов. Потом мы печатали поэтов из Словении, в последнее время стали интересоваться украинской поэзией.

— Трудно поверить, что издательство может печатать почти исключительно поэзию и существовать уже десять лет. Как это возможно?

— Мы действительно стали специализироваться на авторах и книгах, которыми большие издательства интересуются не так часто. Весь наш про-

ект зародился и развивался очень естественным путем. Новые начинания вытекали из предыдущих. Не без значения и тот факт, что мы опираемся на дружеские контакты, т.е. «Бюро литерацке» построено не на тех принципах, которые свойственны крупным издательствам. Нам всегда везло, если говорить о местах, где мы работали. На протяжении восьми лет это была Легница, а потом — Вроцлав. Особенно эти последние, вроцлавские годы способствуют нашему динамичному развитию, мы осуществляем все более значительные издательские проекты. Пример тому — наша новая серия «Зебра», в которой мы печатаем произведения выдающихся авторов, в том числе и тех, кого уже нет в живых, как Рафал Воячек. Мы не могли бы себе это позволить без поддержки властей Вроцлава, которые в нашем начинании увидели шанс повысить уровень литературного образования, а также усмотрели своего рода повышение престижа города от таких мероприятий, как наши фестивали. Все это позволяет нам делать то, о чем забывают другие издатели и что приносит нам удовлетворение.

— Трудно себе представить любую деятельность без страницы в Интернете. У вас это больше чем страница.

— Я приглашаю на наш сайт www.biuroliterackie.pl. Это развернутый портал, который состоит из нескольких сервисов. Приглашаю посетить наш книжный магазин, которым пользуются многие наши соотечественники во всем мире. Там можно найти не только книги нашего издательства, но и литературные журналы (включая архивные номера) и книги, которые редко бывают в традиционных магазинах. Важным местом является «Пристань» — это ежедневно обновляемый литературный сервис, в котором появляются впервые публикуемые стихи, эссе, фельетоны, звуковые файлы, а в последнее время и видеоклипы. Для тех, кто хочет следить за литературной жизнью, «Пристань» может быть хорошим гидом. Там сейчас свыше тысячи разных материалов, биографических справок.



Артур Буршта

Можно встретиться с тем или иным поэтом и превратить эту встречу в замечательное приключение. Еще один сервис посвящен мероприятиям, которые мы организуем. Одновременно это и архив всех мероприятий, которые мы организовали, т.е. каждое событие имеет отдельный сайт с фотографиями, воспоминаниями, точными описаниями. И последний — это текущие информации о деятельности издательства.

— Вокруг издательства, фестиваля и портала «Бюро литерацке» образовался, по всей вероятности, круг друзей. Кому адресована ваша деятельность?

— На первый фестиваль во Вроцлав приехали любители поэзии со всей Польши. А теперь бывает, что приезжают и гости из-за границы.

Наш проект имеет всепольский характер. Он адресован, с одной стороны, людям пишущим, с другой — обычным читателям. Мы собрали интересные

наблюдения относительно чтения в Польше. Пользуясь данными о заказах на наши книги, мы могли бы создать карту читательских интересов, и оказалось бы, что вовсе не только в больших городах, таких как Варшава или Краков, есть читательская публика.

— Кого вы издаете?

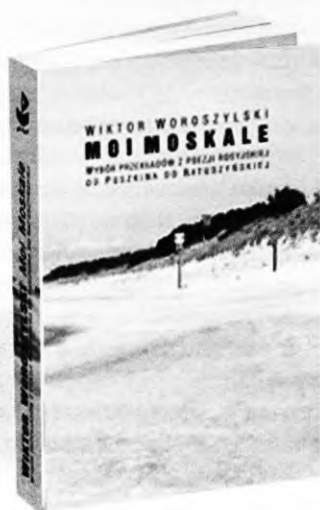
— После шести лет интенсивного исследования английской литературы мы перенаправили наши интересы на Восток, зная, что на востоке Европы много интересных авторов и явлений. Мы начали с украинской поэзии, опубликовав самую обширную до сих пор антологию современной украинской поэзии в переводах Богдана Задуры. Книга «Стихи всегда свободны» вышла в прошлом году и очень быстро дождалась второго издания. И это связано не только с «оранжевой революцией», но и просто с большим интересом к украинской поэзии. Следствием этой антологии стали два сборника украинских поэтов — Юрия Андруховича и Сергея Жадана. На Украине эти книги вышли всего на несколько месяцев раньше. На днях появилась книга Василя Махно, украинского поэта из Нью-Йорка, — «34 стихотворения о Нью-Йорке и не только». Книга была опубликована до этого в Киеве, но в польском издании есть несколько новых стихотворений. И это не конец наших украинских планов. К фестивалю выходит музыкальный диск Юрия Андруховича и вроцлавского ансамбля «Квадриго» — впервые они встретились во время 10-го фестиваля. Для обеих сторон это был настолько интересный опыт, что мы решили запечатлеть его на диске. Мы хотим также заняться русской литературой. К 11-му фестивалю опубликована антология Виктора Ворошильского «Мои русские» — его переводы из русской поэзии. Может это, как и в случае украинской поэзии, станет толчком к новым проектам, связанным с русской литературой. Почетной гостьей фестиваля будет Наталья Горбаневская. На фестиваль приглашены также поэты из Белоруссии.

Беседовала Наталья Ворошильская



Анджей Мандальян

РОДСТВО ПО ВЫБОРУ



«...добавил бы в чужие он труды: трудолюбив — так собственного пота, ленив — так просто-напросто воды!»

Эти слова из «Проблем перевода» Леонида Мартынова, стихотворной полемики с закрепившейся во всеобщем сознании уверенности в том, что поэзия непереводима, наверняка могли бы послужить эпиграфом к только что вышедшей переводческой книге Виктора Ворошильского, который перевел это стихотворение тоже не случайно. Вопрос о неадекватности поэтических переводов оригиналам, разумеется, остается открытым. Стихотворение, заставляющее нас взволноваться, всегда будет существовать — как завершенное и неповторимое произведение — только на родном языке. С той оговоркой, что, когда поэта взволновало какое-то произведение на иностранном языке, оно, как правило, становится вызовом, прямо ему брошенным. Из этого-то волнения исходит своеобразный внутренний приказ, повелевающий ему попытаться проверить эти чувства

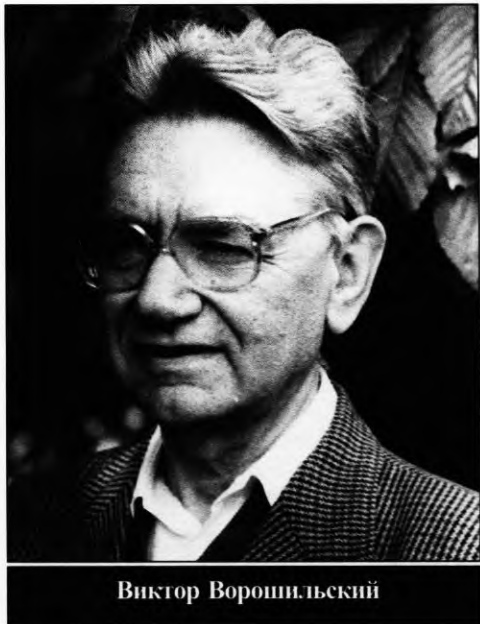
на своем собственном языке. Я бы сказал, что это естественный рефлекс, вытекающий как из восхищения, так и из почитания — из того, от чего и зависит успех переложения чужого текста.

Так удачно сложилось, что, говоря о поэтических переводах Ворошильского, я чувствую себя избавленным от необходимости рассуждать о его мастерстве — это давно уже сделали за меня массы читателей и Польский ПЕН-клуб, присудивший ему премию за переводы.

Виктор Ворошильский, выдающийся поэт и прозаик, к тому же весьма активный участник польской литературной жизни, был не только энтузиастом, но и тончайшим знатоком литературы страны, с культурой, историей и даже географией которой так коварно связал поляков особый ход нашей истории. Вероятно, его интересу способствовало также обучение в аспирантуре московского Литературного института в 50-е годы; свою роль сыграли и установившиеся тогда знакомства и дружеские связи.

Невозможно недооценить значение русских мотивов в его творчестве — достаточно вспомнить, что героем его первого биографического романа «Сны под снегом» был автор неповторимой «Истории одного города»; затем из-под пера Ворошильского вышли документальные или беллетризованные биографии Маяковского, Пушкина и Есенина. Не менее важную часть многостороннего наследия Ворошильского составляют и переводы из русской поэзии, над совершенствованием и отбором которых он работал вплоть до последних дней жизни. Это сравнительно скупое избранное он назвал «Мои русские» — отсылка к знаменитому посланию Мицкевича «Русским друзьям»¹. Переводы из 65 поэтов, «начиная с Пушкина», — это несомненное свидетельство искренней влюбленности в эту поэзию и в то же время своеобразный дневник поисков поэтического родства.

¹ Следует отметить, что в заглавии книги Ворошильского стоит то же слово «moskale», «москали», что и у Мицкевича, в данном случае не носящее обидного оттенка, а лишь намекающее на обычное обидное употребление и одновременно его отвергающее. Так же, как заглавие послания Мицкевича традиционно — и верно — переводится «Русским друзьям», мы переводим заглавие книги Ворошильского не «Мои москали» (так ласково и любовно называли в доме Ворошильских многочисленных заезжавших в Варшаву русских друзей), а «Мои русские». — *Здесь и далее прим. пер.*



Виктор Ворошильский

Составляя сборник, Ворошильский, думаю, не замышлял создать представительную антологию. Тем более, что в известной степени он это сделал много лет назад, в «Антологии новейшей русской поэзии», главным вдохновителем которой сам он и был. На этот же раз он произвел отбор в высшей степени личный — я бы даже сказал, интимный, касающийся не столько даже поэтов, сколько произведений, близких его поэтическому чувству.

Действительно, посмотрим, что вошло в том «Моих русских», изданный десять лет спустя после смерти поэта... Несколько лирических стихотворений Пушкина², «Железная дорога» Некрасова; первые опыты русского модернизма вплоть до множества символистов нескольких поколений; стихи акмеистов, в том числе ранняя и поздняя Ахматова и Мандельштам (со знаменитым переводом «Жил Александр Герцович...», который стал популярным в Польше благодаря Эве Демарчик); стихи Есенина, Пастернака, Цветаевой. Из более молодых — стихи поэтов поколения последней войны, а также Бродского и Айги, популярных бардов³, ну и горсти менее известных современных поэтов, чье творчество в глазах Ворошиль-

ского по тем или иным причинам выглядело настолько привлекательным, чтобы напомнить о них польскому читателю.

65 поэтов! Это так, будто снова оказываешься на одном из многолюдных вечеров у Янины и Виктора Ворошильских: гости толкутся, не умещаясь в комнатах; большинство из них, хоть и не все, — старые знакомые; есть несколько первоклассных фигур, но и остальные — недюжинные, каждый представляет собой личность, ни одного пустого места. А еще в этом доме отлично кормят.

Если в «Моих русских» что-то поражает, то как раз это наличие множества имен, быть может, менее популярных, но несомненно важных и заслуживающих знакомства с их творчеством. И они отнюдь не составляют фона, который предназначен оттенить богатое собрание знаменитых и славных или показать атмосферу, настроение, наконец, почву, из которой *те* выросли. Каждый здесь остается самим собой, и все суверенны, все — очевидные индивидуальности, без которых поэтическая карта России была бы заведомо неполной.

Вытекающая отсюда широта диапазона переводческих интересов Ворошильского очевидна, как и разнообразие типов поэтики и версификации, с которой мы встречаемся в его переводах. С одной стороны — изменчивая настроенность одиноких созерцателей Хаоса со всеми их метафизическими поисками, а с другой — горькие апокалиптические пророчества их последователей, а то и шершавые агитки их антагонистов. Рядом с ноткой иронии родом из «Сатирикона» или обернутов — поэзия эпохи «массовой культуры» или костюмированное представление «поэтики китча». С одной стороны — кристальная чистота пушкинской строфы, гармонические классические тона, с другой — дисгармония стиха, полное расшатывание синтаксиса и семантики. Размах внушительный.

Возвращаясь, однако, к личным критериям, которыми руководствовался Ворошильский, готовя издание «своих русских», думаю, что принципиальным значением, помимо чисто эстетических соображений, а также обычной человеческой симпатии, для него обладало пронзительное чувство общей судьбы.

² Осмелимся добавить, что среди этих переводов — эпический «Странник», стихотворение 1835 года, не всякому русскому читателю Пушкина хорошо известное.

³ Галича, Окуджавы и Высоцкого.



Когда-то он написал в одной из своих вступительных статей: «...мессианизм, триумфы, покаяния — за всем этим стоял медный колосс империи, огромность ее пространства, миграций населения, деспотизма, войн и революций. Русскую поэзию трудно себе представить без этого тыла».

«Медный колосс империи» — или, читая по-мицкевичевски, знаменитый «водопад тираннии». Он причиной тому, что естественный для художника конфликт с обществом в рамках, созданных этим «колоссом», неизбежно перерождался в конфликт с властью. И даже если такой конфликт — не специфически русская черта, то нигде он не протекал так драматически, как в России.

Когда в середине 1960-х мы втроем (третьим был покойный Витольд Домбровский) составляли вышеупомянутую «Антологию современной русской поэзии», нам не приходило в голову, что трудности с ее выходом будут вызваны не отбором текстов (жертвой цензуры пали только отдельные стихотворения Волошина, Галича, Бродского и, на удивление, Вертинского), но трудолюбиво составлявшимися биографическими заметками. У подавляющего большинства поэтов биография складывалась «нецензурно», составляла крайне трагическую череду событий, чаще всего кончавшуюся самоубийством, убийством в застенке, гибелью в лагере. Впрочем, достаточно было и того, что годы смерти самых видных из них выпадали на годы террора. И это было главной причиной, по которой антология застряла в утробе черных кабинетов почти на шесть лет и вышла только в 1971 году. Но мы были поражены, когда обнаружилось, что, совсем об этом не думая, мы начертали таблицу, свидетельствующую о бойне, через которую прошло несколько поколений русской интеллигенции.

В важных, как всегда у Ворошильского, примечаниях и комментариях к «Моим русским», он пишет — говоря о биографии Пушкина — об «особой модели жребия русского писателя». «Эта драматическая модель, — признаётся Ворошильский, — пожалуй, вообще стояла у истоков моего увлечения русской литературой».

Так, словно в давней московской поговорке, популяризированной [в Польше] благодаря «Мастеру и Маргарите», мы теперь знаем, кто виноват во всем этом литературном замешательстве. Действительно, все начинается с конфликта Пушкина (пусть даже несколько мифологизированного) с его царственным цензором. Над конфронтацией века — Поэт и Царь — вознеслась аура декабристского бунта, и весь контекст этой конфронтации положил начало драме неравного боя, столкновения мысли с нагайкой, отчаянной драки пера со скипетром.

В книгу «Мои русские», которой издалека покровительствуют двое юношей, некогда застывших перед памятником «венчанному кнутодержцу», заложено стремление верно показать все, что соединяло и соединяет поэзию их народов, то есть, банально говоря, восприимчивость к красоте мысли, высоте духа, тоске по свободе. Но ценнее всего мне кажется в ней тон, продиктованный благородной потребностью сочувствования. Я имею в виду ноту братства, взятую хотя бы в «Союзе друзей» Булата Окуджавы, который я услышал впервые в исполнении автора именно в доме Ворошильских. Ноту тем более проникновенную, что вскоре этот дом стал одним из центров подпольной деятельности и в то же время убежищем для многих преследуемых, за что хозяин дома чрезвычайно быстро пополнился гонимыми, включая запрет на публикации, арест и пребывание в лагере интернированных.

Вероятно, и этот вид родства имел в виду Ворошильский, давая своей антологии подзаголовок «От Пушкина до Ратушинской», так как не стоит забывать, что Ирина Ратушинская в то время, как он переводил и печатал ее стихи, сидела в лагерной зоне.



Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• «Если взять сегодняшнюю газету и почитать о проблемах с терроризмом, с контролем над Интернетом или с генетически модифицированными продуктами, нам будет трудно найти тему, которой не предвидел бы Станислав Лем. Все мы живем сегодня в одном из его романов», — написал после смерти писателя Войцех Орлинский. Лем был необыкновенным человеком и необыкновенным писателем. Его книги издавались во всем мире — говорят, что их общий тираж достиг 27 млн. экземпляров. Они были переведены на 41 язык. На своем интернет-сайте он написал: «Меня раздражает зло и глупость. Зло вытекает из глупости, а глупость кормится злом (...) Вся история человечества — это лишь доля секунды на геологических часах. Мы живем в темпе невероятного ускорения (...) Располагая все более мощными технологиями, мы все хуже контролируем направление, в котором они идут». Писатель и философ, автор книг, не поддающихся жанровой классификации, Лем был также человеком необычайной восприимчивости ко всему, чем живет мир. Он был чрезвычайно популярен в России, и именно своим русским читателям, приглашенным побеседовать с писателем в Интернете, он посвятил свой последний фельетон в «Тыgodнике повсехном», напечатанный в прошлом номере «Новой Польши».

• «Бальтазар. Автобиография» — так называется последняя книга Славомира Мрожека, автора замечательных рассказов и драматических произведений, пожалуй, самого популярного современного польского драматурга. «Бальтазар» — это своего рода психотерапевтическая книга, написанная Мрожеком после тяжелого инсульта. Работа над ней позволила ему вернуться к жизни и полностью восстановить свою писательскую форму. «В этой книге Бальтазар (т.е. Мрожек) подводит итоги своей жизни (т.е. считает) и оценивает самого себя (т.е. взвешивает), — пишет в предисловии Антоний Либер. — Поскольку у него нет никакого царства и делить ему нечего, он делится тем, что у него есть, то есть своей мудростью. А мудрость

говорит: наше внутреннее единство обеспечивают память и язык. Вот единственное царство человека». И еще два признания самого Мрожека. В беседе с Катажиной Кубисёвской он сказал: «Смерть для меня — что-то очень естественное. Я не вижу в ней никакого табу или проблемы, никакого «скандала», столь милого сердцу классиков экзистенциализма. В этом смысле мне можно верить, так как я умирал не от избытка воображения, а с согласия медицинской науки, которая очень удивилась, когда я в конце концов все-таки не умер». Второе признание сделано на страницах «Бальтазара»: «Что бы я ни написал в будущем, нет никаких сомнений, что я принадлежу Польше. А ведь еще совсем недавно бывало по-всякому».

• Прошедший в этом году в одиннадцатый раз поэтический фестиваль «Порт Вроцлав» становится одним из самых значительных в Польше литературных событий. Организатор и душа фестиваля — директор издательства «Бюро литератке» Артур Буршта. В этом году во Вроцлав приехали гости из Белоруссии и с Украины, а главным событием стала презентация антологии русской поэзии «Мои русские» в переводе скончавшегося десять лет назад Виктора Ворошильского. «Книга Ворошильского, охватывающая почти 200 лет русской поэзии, на долгие годы останется точкой отсчета для читателей и исследователей литературы наших восточных соседей», — сказал Буршта. По мнению же поэта и критика Кароля Малишевского, эта книга — ««квинтэссенция русского духа», необыкновенное свидетельство восхищения инаковостью и близостью соседа, судьбами поэтов и стихов». (См. также беседу Натальи Ворошильской с Артуром Бурштой на стр. 67 и статью Анджея Мандальяна на стр. 69 этого номера.)

• Премии журнала «Пшеглэнд вхoдний» («Восточное обозрение») за лучшие публикации по истории и современности Восточной Европы и России (в пределах бывшего СССР) получили: Тадеуш Эпштейн — за книгу «С пером и палитрой. Интеллектуальные и художественные интересы польских по-



мещиков на Украине во второй половине XIX века»; Гжегож Грыцюк — за книгу «Национальные и демографические изменения в Восточной Галиции и на Волыни в 1931-1948 годах»; Влодзимеж Менджецкий — за книгу «Польская интеллигенция на Волыни в межвоенный период»; Ежи Рогозинский за книгу «Святые, флагелланты и красные ханы. Перемены в мусульманской религиозности в советском и постсоветском Азербайджане».

• В списке бестселлеров все снова пришло в норму. Лидирует Иоанна Хмелевская со своей «Бледной спирохетой», а в спину ей дышат Мария Нуровская («Две любви») и новенькая — Мария Мадера («Друзья»), о которой Анджей Ростоцкий пишет: «У этой молодой и, судя по фотографии, привлекательной женщины есть талант. В своем очень краковском романе она поражает читателя трезвостью наблюдений, самоироничной отстраненностью и непринужденным чувством юмора. История группы друзей, естественной средой обитания которых была пивная «Печальный Банась», рассказана изящно и с обаянием». В категории документальной литературы впереди книга Марека Лясоты «Донос на Войтылу» — первая публикация, основанная на материалах спецслужб ПНР, собранных на протяжении нескольких десятков лет слежки за епископом и кардиналом. «Это оптимистическая книга, ибо она доказывает беспомощность огромного аппарата насилия перед лицом такой малости, как человеческая совесть», — пишет все тот же Анджей Ростоцкий.

• Как пишут авторы «Биографического словаря истории Польши», «главная цель этого труда — предоставить читателю основные, популярно изложенные сведения о людях, которые оставили заметный след в истории польского государства. Мы старались смотреть на этот более чем тысячелетний период сквозь призму истории не только польского народа, но и всего жившего на этих землях сообщества и созданных им культурных богатств». Новый лексикон — это два тома, пять тысяч биографических статей и почти сто авторов.

• На X Пасхальный Бетховенский фестиваль съехалась целая плеяда замечательных исполнителей, среди которых звездами первой величины были музыканты оркестра Санкт-Петербургской филармонии — старейшего в России симфонического оркестра. Концерт для виолончели с оркестром ми-бемоль мажор, соч. 107 Дмитрия Шостаковича в сотую годовщину со дня рождения компози-

тора исполнила выдающаяся виолончелистка Наталья Гутман. А Эльжбета Пендерецкая, инициатор и душа фестиваля, сказала на церемонии открытия: «Культура делает мир более человечным, облагораживает его, сплачивает любое общество».

• В Варшаве на 77-м году жизни скончался Аугустин Блох — известный композитор («Остробрамская литания», балет для детей «Крепко спящая красавица») и организатор музыкальной жизни, многолетний председатель программной комиссии «Варшавской осени».

• Уже 40 лет существует «Галерея Фоксаль» — одна из самых маленьких галерей Варшавы, в которой выставляются самые крупные мастера. Это была первая польская галерея, получившая признание на Западе. В ПНР она была вне конкуренции, но и сегодня у нее остаются верные поклонники. О ее первых шагах рассказывает один из ее основателей, а ныне директор Веслав Боровский: «Все началось со встреч в кафе. Мы были группой непокорных художников и критиков, и нас интересовало искусство, отличавшееся от того, что выставлялось в государственных выставочных залах. Правда, политические репрессии уже кончились, но с властями надо было считаться». В числе основателей галереи были такие выдающиеся мастера, как Генрик Стажевский, Тадеуш Кантор и Эдвард Красинский. Здесь дебютировали, в частности, Леон Тарасевич и Мирослав Балка.

• «Откровение — так я назвала бы встречу с живописью Рафаля Мальчевского», — пишет Моника Малковская. — Впервые после войны у нас появилась возможность увидеть его творения. Это самое интересное событие сезона в варшавском Национальном музее (...) Экспозиция позволяет нам понять феномен Закопане — некогда бедной деревни, а теперь царства снобов (...) Одним из поклонников Закопане был Рафал Мальчевский, сын [выдающегося художника] Яцека Мальчевского (...) Горнолыжник, альпинист и автомобилист, всесторонне одаренный и всем интересующийся непоседа, он передавал красоту гор не только в картинах (...) В 30-е годы критика провозгласила его самым талантливым и многообещающим польским художником (...) И сегодня его картины обращают на себя внимание своей необыкновенной атмосферой».

• «Когда-то самым ярким графическим акцентом на наших улицах были художественные плакаты. Сегодня это гигантских размеров рекламы. Их труд-



но победить, но борьба продолжается, — пишет Агнешка Ковальская, комментируя выставку «Постеры пост-эры» в варшавском музее плаката. — Уличные партизаны, молодые художники, часто работающие под покровом ночи, рисуют красками и спреем, расклеивают свои собственные рисунки и плакаты». Именно этим произведениям посвящена выставка, с открытия которой началось празднование 40-летия Биеннале плаката.

- Между тем в Париже на аукцион были выставлены плакаты авторства одного из старейших польских мастеров, умершего десять лет назад Романа Цеслевича. Часть наследия великого художника купили музеи Познани и Варшавы.

- 18 апреля на польском рынке появилась новая ежедневная газета, которая называется просто «Дзенник» («Ежедневная газета») и финансируется концерном Акселя Шпрингера, издающего уже прижившиеся у нас еженедельник «Ньюсуик» и газету «Факт». Неизвестно, будут ли у новой газеты читатели, но одна лишь весть о том, что она будет издаваться, заставила господствующую на польском рынке «Газету выборчу» снизить цену почти вдвое. Так что нам, читателям, это уже принесло пользу.

- Хотя Конституционный суд пришел к выводу, что новая руководительница Всепольского совета по телевидению и радиовещанию была назначена на свою должность незаконно, та уже начала свое нелегальное правление — с наложения штрафов за аморальные программы. Огромные штрафы были наложены на два крупнейших в Польше частных телеканала — «Польсат» и ТВН. Безнаказанными остаются лишь СМИ отца Рыдыжа, так как их ошибка заключается не в моральной, а в политической «некорректности» (так эвфемистически называются антисемитские выступления). Может быть, это свидетельствует о том, что политика перестает играть на польской публичной сцене какую бы то ни было роль?

- В этом году присуждаемые журналистам премии им. Дариуша Фикуса получили начальник бизнес-редакции ТВН Роман Млодковский (в категории «творец СМИ») и корреспондент газеты «Жечпосполита» в России Павел Решка (в категории «творец в СМИ»).

- В атмосфере поднятой СМИ шумихи судебный исполнитель наложил арест на помещение варшавского клуба «Le Madame», где, в частности, проходили спектакли альтернативных театров, выставки, встречи и хэппенинги — зачастую спорные и даже скандальные. Формально судебный исполнитель имел на это право — у клуба была огромная задолженность по арендной плате. «Судебный исполнитель и полиция в «Le Madame» — вот символы отношения властей к культуре, — пишет Дорота Ярецкая. — Город, которому принадлежит помещение, установил такую высокую арендную плату, что владельцы клуба перестали справляться (...) Для одних культура — это комплекс государственных институтов (...) В такой культуре лучше всего то, что она прекрасно сама себя понимает. Поэтому необходимо ее поддерживать, давать ей дотации, устраивать празднества и торжественные церемонии (...) Для других культура там, где собрались люди (...) Но такая культура всегда готова на провокации, ведет себя вызывающе и идет, куда хочет».

- В старой вилле в Константине-Езёрной под Варшавой расположился необычный музей — Storyteller Museum, Музей рассказчиков. «Движение за возрождение устного рассказа появилось во всем мире лишь потому, что люди нуждаются в разговоре, хотят посмотреть друг другу в глаза, поделиться тем, что у них на душе, — говорит хозяин виллы-музея Михал Малиновский. — Это почти физиологическая потребность. СМИ пытаются подменить ее эрзацами, но она возвращается. Людям, живущим вдали от родного дома, устные рассказы помогают найти корни, дают ощущение принадлежности к общине, возвращают потерянное самосознание». У Малиновского огромные планы. В его музей приезжают рассказчики со всего мира. Он ездит по миру с польскими рассказами. По словам польского поэта XVII в. Мацея Казимежа Сарбевского, «испанец по природе своей богослов, итальянец — философ, француз — поэт, немец — историк, поляк — оратор».



Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

С некоторых пор в нашей публицистике, посвященной вопросам культуры, появился термин «историческая политика». Это термин без особо точного определения, однако речь идет, грубо говоря, о политической инструментализации истории. Исторической политике или даже «политике памяти» посвящен целый блок материалов в последнем номере гданьского ежеквартального журнала «**Пшеглэнд политичный**» (№75, 2006). Говоря об этом понятии в интервью, озаглавленном «Достаточно ли исторической истины», профессор краковского Ягеллонского университета Анджей Хвальба констатирует:

«Оно, можно сказать, вторглось каких-нибудь года два назад. Раньше ни в польской исторической литературе, ни в публицистике оно, собственно говоря, не использовалось. (...) Появилось оно особенно под влиянием [начатой немцами] дискуссии о Центре против насильственных выселений [который собираются создать в Берлине], а также реакции на политику Путина, то есть по причинам, идущим из-за границы».

Это верно, но в конце концов какая-то «историческая политика» была всегда — достаточно просмотреть школьные учебники, меняющиеся с ходом времени и сменой политических систем. Сегодня этот феномен укрепляется, и инструментализация истории политиками становится довольно распространенной практикой. Это, кстати, отличный инструмент пробуждения чувства обиды и раскручивания националистических эмоций. За примерами ходить недалеко. В последнее время, например, мне оказал честь интернет-портал «Иносми.ру», опубликовав статью из «Новой Польши» об отношении парижской «Культуры» к «украинскому вопросу». Оказали мне эту честь неслучайно, портал тоже неслучайный, и неслучайными оказались комментарии российских пользователей Интернета, которые в моей статье прочитали не то, что я написал, а то, что им хотелось прочитать. А жаль, потому что разговаривать есть о чем. Было бы неплохо, если бы слово взяли не случайные спорщики, а люди, для которых вопрос о том, как будет выглядеть Центральная Европа, представляет интеллектуальную задачу, а не предлог к склоке, на мой взгляд устарелой, о «сферах влияния».

По этому случаю я все-таки хотел бы два вопроса разъяснить. Во-первых, «Культура» — а в особенности ее редактор Ежи Гедройц — с самого начала стала на проукраинскую позицию и отвергала какие бы то ни было территориальные претензии к Украине, что раздражало как польское правительство в изгнании, так и немалую часть общественности в Польше, особенно ту, что после войны была переселена с востока на запад. Отказ от всяких попыток господства над восточными соседями — независимость которых составляла основу программы Гедройца — он считал фундаментом будущей польской восточной политики. Он также полагал, что отказ России от господства над этими странами может создать основу для хороших польско-российских отношений — одну из основ, хотя, разумеется, не единственную. На поляков Гедройц оказывал влияние, претензий влиять на русских у него не было. И, наконец, во-вторых: в своей статье я писал не о сегодняшнем или завтрашнем дне, а о конкретном вопросе — эволюции позиций «Культуры» и ее окружения, исходящих из исторического опыта и стремящихся преодолеть польские обиды. При этом обойти молчанием сам этот исторический опыт было невозможно: абстрагироваться от фактов я не мог.

Комментарии пользователей, собственно говоря, меня не поразили. «Поляки — враги России», — это я прочитал. Поляки хотят господства на востоке — так прочитали мой текст. Администратор портала цензурировал высказывания, вырезая главным образом глаголы, связанные с



деятельностью детородных органов. Однако он не вырезал существительное «пшек» — вероятно, милое его сердцу определение поляка. И хорошо сделал. Цензура — это попросту скандал. На будущее скажу, что надо оставлять высказывания пользователей в изначальном виде — это всегда оживляет дискурс. А на российские порталы я заглядываю с интересом. Например, года два назад мне очень понравилась реакция российской публики на протест украинских писателей против признания русского языка на Украине государственным на равных правах с украинским. Авторы воззвания попросту смешали с грязью.

В этом году мы в Польше — по решению Сейма — отмечаем Год Гедройца. Быть может, стоило бы, учитывая то уважение, с которым Ежи Гедройц относился к русской культуре и русскому народу, подумать о том, как он представлял себе будущее нашей части Европы. Нет никакого сомнения, что в коммунистические времена это был единственный журнал, последовательно выдвигавший тезис о неизбежности распада СССР и о возрождении России, а также Украины и Белоруссии как демократических государств. Этот тезис требовал, чтобы из него сделали определенный вывод — предположение о партнерских отношениях всех стран этого региона, в особенности же о партнерских и равноправных отношениях между Россией и Польшей. Не случайно Меровский писал о том, что независимость Украины и Белоруссии лежит не только в польских, но и в российских государственных интересах. Это предвидение, как и любое другое, тоже подлежит дискуссии, но для такой дискуссии следует найти основу, обретая пространство взаимопонимания. Я опасюсь, что обретению такого пространства отнюдь не способствует то, что называется «исторической политикой», то есть то, что скорее умножает конфликты, нежели разряжает их и сглаживает. История у нас сложная, но есть и шансы построить общее будущее.

Вопрос связывания прошлого с настоящим и будущим несомненно остается одним из важных факторов, определяющих самосознание обществ, народов и государств. Дариуш Гавин в опубликованной «Пшеглендом политичным» статье «О пользе и вреде исторического ревизионизма» пишет:

«Эволюция критического патриотизма началась [в Польше] на рубеже 50-60-х годов, а кристаллизовалась и закрепилась в момент возникновения демократической оппозиции в 70-е. Если суть этой позиции — уверенность в необходимости борьбы со стереотипами, мифами, распространяемыми в отечественной культуре, то такая позиция естественно находит немало аналогов в более отдаленных временах. Достаточно сказать, что против романтических национальных мифов, легенды повстанчества, сарматских традиций боролись как варшавские позитивисты, краковские «станчики» [одна из самых влиятельных школ историков в XIX веке. — Л.Ш.], так и национал-демократы. (...) Заповедь постоянного пересмотра своего национального прошлого особенно четко сформулирована в знаменитой статье Яна Юзефа Липского «Две отчизны, два патриотизма. (Заметки о национальной мании величия и ксенофобии поляков)» [см. «НП», 2001, №2]. (...) Как в призме, в ней сходятся все нити, составляющие специфически польский вариант исторического ревизионизма и проводимой на его основе исторической политики. Липский противопоставлял патриотизм, основанный на христианской любви к ближнему, шовинизму, национальной мании величия, национальному эгоизму, ксенофобии. Однако понятия эти он по существу рассматривал весьма широко, в ходе своих рассуждений неявно полагая, что их поддерживают также обычные национальные стереотипы, на вид имеющие с ними мало общего. (...) В рассуждениях Липского неясным остается момент, в котором он приравнивает национальную манию величия к злу — признавая, что хотя вина за укрепление национальных мифов нравственно не так велика, как активное причинение зла, тем не менее она остается источником зла (...). Если домыслить, то каждый, кто обладает слишком хорошим национальным самоощущением, кто не проявляет готовности пересматривать это самоощущение, кто не способен стать лицом к лицу с неудобными, жестокими истинами, — хоть и бессознательно, дает злу пищу. (...) Хотя у Липского речь идет о бдительности в отношении прежде всего той кампании пропаганды патриотизма, которую вели



власти ПНР, позиция осторожности силою вещей начинает относиться ко всем национальным символам. Никакое их использование критический патриот не может принимать бездумно: он должен включать здесь рефлекс своего рода инстинктивной, автоматической подозрительности, должен сразу ставить вопрос о чистоте намерений».

Далее в своей статье, критическом прочтении текста Липского, Д. Гавин пишет:

«В 80-е годы (...) появилось немало текстов, продолжающих затронутые Липским темы. Нарастал интерес к вопросу польско-еврейских отношений, усиливалось увлечение некогда многокультурными польскими окраинами, стихийно развивалась мода на чешскую литературу (тоже часто воспринимаемую в духе пересмотра отечественных стереотипов — как доказательство того, что возможна нормальная, мещанская, прагматическая славянская культура, избавленная от заразы мессианства, ненужной траты сил в восстаниях и т.п.). (...) Однако неизбежно возникла принципиальная трудность. Одним из следствий выдвигаемой Липским позиции критического патриотизма должно было стать не только преодоление в себе губительных ура-патриотических мифов, ведущих к национальной мании величия и ксенофобии, но и принятие на себя ответственности за деяния прошлого, совершенные нашим обществом по причине веры в эти губительные мифы».

И тут мы уже переходим к политическому аспекту:

«В перспективе критического патриотизма, патриотизма горестного раздумья, по сути дела уже невозможно пользоваться категорией национальных интересов — особенно в сфере исторической политики. Коллективные интересы — это категория, силою вещей сплетенная с эгоизмом; необходимость стать лицом к лицу с горькой истиной, необходимость мыслить вопреки собственному душевному комфорту, постоянное стремление к демифологизации, подозрительный взгляд на все собственные стереотипы — все эти меры должны проводиться безоговорочно. (...) Историческая политика в этой перспективе подчиняется полному верховенству этики, становится пространством, где не столько строится общее самосознание, сколько в ходе болезненного самоанализа отвергается потенциальность греха, имманентно вписанная в сообщество и сферу политического».

И, наконец, в заключение автор пишет:

«Этот недостаток понимания Своих и излишек понимания Других, представленный критическим патриотизмом, вытекает не из злой воли. (...) Исторический ревизионизм в варианте сторонников критического патриотизма научил нас (...) новому отношению к истории. Речь идет о том, чтобы, взяв достоинства этой позиции, одновременно уберечься от вытекающих из нее ошибок. Иначе не удастся воссоздать связь, соединяющую поляков в политическое сообщество, способное активно действовать в истории. А без этого мы можем остаться множеством, вынужденным вести политические поединки в том времени, месте, а также условиях, которые будут навязаны нам извне».

Критический патриотизм скорее носит характер индивидуалистический, нежели принадлежащий сообществу, — по крайней мере так считает часть политических кругов, лидеры которых убеждены во внезапном крушении польских патриотических позиций и исчезновении коллективной национальной памяти. С таким подходом в том же номере журнала полемизирует Роберт Траба, автор статьи «Борьба за культуру»:

«Вопреки скептикам, в том числе и скептикам-ученым, коллективная память существует. Вопросом остается, как ее использовать, чтобы она стала эффективным фактором демократического государства. Глашатаи новой исторической политики хотят декретировать ее новыми символами, мифами, кладущимися в основу Четвертой Речи Посполитой. (...) Глашатаи исторической политики делают патриотизм столпом превращения общества в гражданское. Причем «патриотизм завтрашнего дня» до сих пор определяется «вчерашней» точкой зрения. Ибо его сутью оста-



ется создание сообщества, опирающегося прежде всего на ценности этнического патриотизма XIX века — ценности традиции, истории, культурных достижений. Теоретически это могло бы быть верное указание, учитывая тот факт, что национальная гордость поляков, их чувство превосходства над соседями вытекает не из конкретных достижений, но из веры в принесенную нами «кровавую дань», в наше самоотречение и самопожертвование ради других. Следовательно, нам положено удовлетворение, уважение, и мы имеем право испытывать нравственное превосходство. Попытка изменить статус жертвы на одобрение нашей истории продолжает оставаться всего лишь заменой «плохого» «не таким плохим». Ни в одном из программных текстов нет указания на роль общества как субъекта и реального творца культурной памяти поляков. Такая роль отведена государству, точнее правительству, которое путем выборов сделало свои замыслы легитимными. Да только эту легитимность при низкой явке на выборы дали правящей партии чуть больше 10% взрослых граждан. Поэтому память — в отличие от бюджета — невозможно учредить только в лагере победителей. (...) В пылу критики в адрес Третьей Речи Посполитой многие забывали о необычайных достижениях неправительственных организаций в деле распространения гражданских ценностей, в том числе и истории. Это тем более должно быть замечено, что в европейском масштабе гражданское общество в нашей стране самое слабое. Нигде нет такого малого числа неправительственных организаций в пересчете на численность населения».

Трудно не согласиться с Трабой. Патриотизм невозможно декретировать, невозможно возвращать с помощью ныне планируемых государственных воспитательных учреждений, когда эти учреждения не укоренены в общественной активности граждан. Но это не только польская проблема:

«Польша, — пишет Траба, — не изолирована в творении своей национальной истории как фактора, модернизирующего неоконсервативную идеологию. Своего рода «культуркампф», т.е. новая борьба за культуру, идет и в Германии (попытка переистолкования роли немецкого народа как жертвы), и во Франции (законопроект с предложением внести в школьные программы разделы о положительных результатах колониализма), и в Италии (общественная реабилитация Муссолини). Я считаю, что нам представляется редкостный шанс — пользуясь, в частности, уникальными возможностями, какие дает нам многокультурная история, разнообразие влияний и опыта, — создать свой вариант европейской модели исторической политики». Особенно важный в нашей части Европы.

Дискуссия продолжается. А я не могу избавиться от впечатления, что сам термин «историческая политика» излишне облагораживает понятие, может быть, более пресное, но ясное — пропаганда.



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ФОРМИРУЮТ ЛИЧНОСТЬ

*Беседа с президентом Польской Академии наук
профессором Анджеем Б. Легоцким*

— Дома вы получили музыкальное и художественное образование. Родители привили вам любовь к гуманитарным наукам. Пригодилось ли это вам впоследствии в таких точных областях, как структурная и молекулярная биология.

— Возможно, гуманитарные интересы и не оказали непосредственного влияния на мою профессиональную деятельность, но, несомненно, они благоприятствовали развитию моих мыслительных и ассоциативных способностей, научили меня видеть интересные научные проблемы. Мне кажется, любая умственная деятельность свидетельствует о возможностях несколько более широких, чем узкоспециальные данные, связанные в моем случае с химией и биологией, — ведь человеческий ум постоянно вовлечен в процесс ассоциирования, постановки вопросов и попыток ответить на них. Полученное дома гуманитарное образование не может заставить человека проделывать больше химических опытов, но наверняка формирует его личность.

Начиная со времен Чарльза Дарвина, создавшего одну из величайших в истории научных теорий, естественные и гуманитарные науки невероятно сблизились. Теория эволюции поднимает вопросы, касающиеся человеческих популяций, и, стало быть, имеет гуманитарный аспект. Мы изменяемся, изменяется и мир вокруг нас; сначала мы формируем окружающую среду, а затем, сообразно с этой средой, формируемся мы сами. Возьмем, к примеру, архитектуру. Изменения в облике городов, все большая плотность населения, огромные здания, в которых живет множество семей, непосредственно влияют на наше поведение, на выбор системы ценно-



стей, на нормы общежития, на снисходительность и т.д. Люди, обогащенные таким опытом, несомненно отличаются от тех, у кого его нет.

— Раз уж вы упомянули о формировании окружающей среды и человека сообразно с ней, то скажите, пожалуйста, с точки зрения специалиста по биотехнологии высших растений: надо ли опасаться генетически модифицированных культур?

— Я считаю, что подобные опасения сильно преувеличены. Они вытекают из нашей невежественности, а часто из демагогического невнимания к научным аргументам. В сущности речь идет о решении многих наболевших проблем: об обеспечении людей пищей, улучшении состояния их здоровья, использовании растений и других организмов для производства определенных белков и биомедицинских продуктов. Что касается трансгенных растений, то тут цель — вывести сорта, устойчивые к разного рода патогенам: неблагоприятным стрессовым условиям, низким температурам или слишком высокой солености почвы. Это очень рациональные действия. Для опасений нет никаких оснований. Вспомним, что ежегодно многие сотни миллионов гектаров засеиваются генетически модифицированными растениями, которые приобрели какие-то ценные свойства. Конечно, меры предосторожности следует соблюдать, но это не повод, чтобы видеть угрозу там, где ее попросту нет.

— Приходится ли вам встречаться с представителями течений, враждебных этим достижениям в области генетики?

— Люди, протестующие против новых генетических методов, очень крикливы и иногда считают, что цель их существования — бить тревогу. Я понимаю,



что нельзя быть человеком, отрицающим всякие сомнения. Ко всем возражениям нужно относиться серьезно, но многие миллионы людей уже очень долго питаются генетически модифицированными растениями, и ничего плохого с ними не случилось.

— *Вероятно, на человеческое воображение очень сильно действуют научно-фантастические книги и фильмы, полные отвратительных мутантов.*

— По-видимому, да.

— *Давно вы занимаетесь проблемой генетических мутаций?*

— Всю свою профессиональную жизнь я занимался прежде всего объяснением процессов, идущих в растениях. Речь идет о метаболизме, т.е. о химических превращениях, происходящих во время симбиоза бобовых с микроорганизмами (бактериями рода ризобиум). Эти взаимодействия ведут к созданию естественных симбиотических связей, в которых происходит ассимиляция растениями атмосферного азота. Это один из важных биологических процессов, необыкновенно полезных не только для растений, но и для окружающей среды. Он может сделать нас независимыми от минеральных удобрений, которые потом часто залегают в почве.

— *Над чем вы сейчас работаете?*

— В настоящее время я сосредоточен главным образом на Польской Академии наук. В силу сложившихся обстоятельств мои занятия биохимией пришлось значительно ограничить, а в последнее время я начал интересоваться философией природы.

— *Звучит очень интересно.*

— Действительно, очень увлекательно наблюдать, как открытия в каких-нибудь узких областях палеобиологии или физиологии проливают новый свет на наши взгляды, касающиеся происхождения человека или влияния среды и культуры на его развитие.

— *Профессор Петр Слонимский считает, что у польской науки есть шанс стать мировым лидером в области теоретических исследований. Что об этом думаете вы — ученый и президент ПАН?*

— Не знаю, имел ли в виду профессор позицию мирового лидера в буквальном смысле слова, но я охотно соглашусь с этим мнением применительно к некоторым избранным направлениям. Польская наука способна на выдающиеся достижения, так как поляки — люди талантли-

вые; при этом они обладают непокорным, индивидуалистическим характером, а в интеллектуальном отношении — теми чертами, которые и должны отличать ученого: пытливостью, острым и живым умом.

Что касается теоретических исследований, то их часто противопоставляют прикладным. Я выступаю против таких чисто механических классификаций. Оба этих научных пути в сущности представляют собой единое течение. Скорее следовало бы противопоставлять солидную современную науку исследованиям фрагментарным или поверхностным. Даже самый теоретический исследовательский проект всегда включает в себя прикладные элементы. Обратите внимание, что в середине XIX века ровесник Чарльза Дарвина Грегор Мендель занимался в тиши моравской деревни никому не нужным скрещиванием разных сортов гороха. А через сто лет из этих его экспериментов выросла мощная наука — генетика, ставшая сегодня основой фармацевтической и невероятно развитой диагностико-терапевтической промышленности. Спустя годы прикладной аспект открытий или теоретических исследований может оказаться совершенно неожиданным.

— *Грозит ли польской науке бегство самых способных ученых на Запад?*

— Перемещение ученых — в какую угодно сторону — тенденция естественная. Наша Мария Склодовская-Кюри сделала свое величайшее открытие в Париже. Альберт Эйнштейн значительную часть жизни (правда, по причине вынужденной эмиграции) провел в США. Ученые ездят и будут ездить по всему миру. Главное, чтобы это не была волна эмиграции, которая могла бы весьма существенно подорвать наш интеллектуальный потенциал. Думаю, что главная причина все более частой эмиграции самой способной молодежи — это экономические условия. Но, разумеется, дело не только в этом. На Западе значительно выше «концентрация» научных кругов и, следовательно, больше возможностей интенсивно обмениваться мнениями с профессионалами в одном кампусе или институте. Конечно, нет необходимости добавлять, что социальные условия там тоже существенно лучше. В самом факте выезда ученых нет ничего плохого — надо только создать им условия для возвращения.

— *Некоторые члены ПАН считают, что через двадцать лет польской науки уже не будет — вместо нее будет наука ев-*



ропейская. Действительно ли все будет именно так и действительно ли это должно произойти?

— Обычно, когда кто-нибудь говорит «польская наука» или «французская наука», я протестую. Я считаю, что наука — достояние общечеловеческое. Можно заниматься ею в Польше, но научные достижения принадлежат всему миру. У науки нет национальности и гражданства — этим и объясняется ее невероятная привлекательность и истинная свежесть. Мы совершаем открытия, которые сразу же могут рассматриваться как благо для всего человечества.

— В марте этого года в Брюсселе открылось представительство ПАН. С какой целью оно было создано?

— Брюссель — столица Евросоюза, и поэтому там располагаются многие учреждения, организующие континентальные исследовательские проекты. Мы чувствовали необходимость создать отделение, которое будет представлять не только институты Академии, но и университетские круги. Научная среда очень сплочена, независимо от принадлежности института.

В наш центр будут приезжать представители разных научных коллективов, чтобы встретиться с представителями европейских структур. Ученые смогут больше узнать об институциональных и личных связях в среде, занимающейся исследовательскими программами ЕС, и таким образом у них появятся новые возможности попасть в исполнительные коллективы.

— Как сейчас складываются отношения ПАН с Польской академией знаний (ПАЗ)¹, которая в свое время могла чувствовать себя ущемленной чисто политическим решением? (После того как в 1952 г. ПАЗ была ликвидирована, решением тогдашних властей ее отделения и имущество были переданы создававшейся в Варшаве ПАН. — *Ред.*)

— Я бы назвал нынешние отношения между ПАН и ПАЗ образцовыми. Мы взаимодействуем по всем ключевым научным вопросам. Я регулярно участвую в пленарных заседаниях ПАЗ, так как имею честь быть членом этой уважаемой организации, и должен признать, что в принципе по всем

важным проблемам, касающимся научной политики, обе академии высказываются единодушно. Мы урегулировали имущественные вопросы (в частности, ПАН передала ПАЗ центр конференций и отдыха в Завое), у нас общая библиотека, мы организуем совместные международные конференции — все это объединяет и сплачивает нас.

— А как выглядит сотрудничество польской науки с российской?

— Я всегда считал стратегическими партнерами ПАН Общество Макса Планка, Российскую Академию наук и Королевское общество Великобритании.

В настоящий момент уже привычными стали польско-российские встречи молодых ученых, специализирующихся в разных областях науки — таких, как археология, изучение окружающей среды или математика. Это области, которые могут привлечь как польских, так и российских молодых аспирантов, занимающихся конкретными совместными исследованиями. Например, сейчас мы рассматриваем вопрос о том, в какой степени польские научные центры могли бы сотрудничать с Сибирским отделением РАН. Прежде всего мы думаем об Иркутске, так как там есть институт, занимающийся проблематикой экологии Байкала и Сибири, а также другие институты — в частности, математики. Для нас они очень привлекательны. Мы намереваемся посылать туда нашу молодежь на стажировки, а они пришлют к нам свою.

— Интересуются ли Польшей выдающиеся российские ученые? Приезжают ли они сюда в поисках интересных контактов?

— У нас есть связи со многими представителями российской науки. Конечно же, я хорошо знаю выдающегося математика, президента РАН Юрия Осипова, одного из вице-президентов РАН Николая Плате, который бывает у нас не только по долгу службы, но и в научных целях. В свое время я часто ездил в Россию на стажировки и конференции и встречался там с такими выдающимися личностями, как академики Александр Спиринов и Лев Киселев, покойный, увы, Андрей Мирзабеков из Института молекулярной биологии или Константин Скрыбин, академик РАСХН, членом которой я тоже являюсь. Один из моих друзей — директор Санкт-Петербургского института микробиологии проф. Игорь Тихонович. У меня побывало немало стажеров из российских лабораторий, да и сам я тоже посылал своих стажеров в российские научные центры.

¹ О деятельности Польской академии знаний и основных различиях между ПАЗ и ПАН рассказывал в №5 (2004) «Новой Польши» президент ПАЗ Анджей Бялас.



Интерес ПАН к сотрудничеству с российскими коллегами ни в коем случае не связан с конъюнктурой, но вытекает из давних традиций и множества общих черт научного пути.

В 2005 г. я провел часть своего летнего отпуска на Байкале, где посетил несколько НИИ. Я установил контакт с Институтом лимнологии, занимающимся проблематикой биологии пресноводных водоемов, а по возвращении открыл мемориальную доску в честь выдающегося исследователя Сибири Яна Черского². Я был тронут тем, как до сих пор живы в тех далеких краях традиции польских исследователей Сибири: Бенедикта Дыбовского³, Александра Чекановского⁴, Виктора Годлевского⁵, Бронислава Пилсудского⁶. Многие польские ученые, учителя, врачи, царские чиновники прочно вошли в историю Сибири, так что без них уже невозможно написать полную историю этой части России.

Сейчас мы хотим вернуться к некоторым, возможно, слегка забытым научным темам, заняться описанием сибирских поселений, где живут поляки, иногда хранящие традиции XIX века. Вместе с нашими российскими коллегами мы хотим исследовать ту часть флоры и фауны Байкала, которая еще осталась неисследованной, а также изучить геофизические особенно-

сти этого района. Это необыкновенные места, подсказывающие множество научных идей. Ведь байкальская природа восхитительна!

В этом году в Польше и России прошли семинары по математике и экологии — своего рода творческие встречи российской и польской молодежи. Я очень сожалею, что в политических отношениях между нашими странами повеяло прохладой, но верю, что это временное состояние, что придет время, когда мы сможем широко развернуть нашу совместную деятельность, базирующуюся на общих интересах, которых действительно очень много.

Надо сказать, что благодаря моим гуманитарным увлечениям я познакомился в России со многими людьми искусства, такими как покойный Михаил Иванов, великий постимпрессионист (у меня есть несколько его картин), или выпускник МГА-ХИ Юрий Константинов. Мне кажется, в великом русском искусстве постоянно присутствует то, что Сергей Бондарчук сказал о русской душе: оно определяется безграничностью и страданием. Из своих путешествий по России (как научных, так и туристических) я всегда привозил стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского. Я знаю почти все песни Высоцкого. Недавно я был в Москве на его могиле. У меня перед глазами до сих пор стоит день его смерти. Ведь его оплакивали не только в России, но и в Польше. Одним из величайших поэтов середины XX века я считаю Пастернака. У меня есть первый вышедший польски сборник его прекрасных стихов.

В русском искусстве я всегда находил множество личных, близких мне мотивов.

² Ян Черский (1845-1892), геолог, палеонтолог и географ, сосланный в Сибирь за участие в восстании 1863 года. Выдающийся исследователь Сибири. Его именем названы два горных хребта. Составил первую геологическую карту берегов Байкала.

³ Бенедикт Дыбовский (1833-1930), зоолог, эволюционист, проф. Львовского университета, член ПАЗ и АН СССР. Сибирский ссыльный. Исследователь эндемической фауны оз. Байкал.

⁴ Александр Чекановский (1833-1876), геолог и географ. Сослан в Сибирь за участие в восстании 1863 года. Выдающийся исследователь северо-восточной Азии. Его именем назван хребет в Восточной Сибири.

⁵ Виктор Годлевский (1831-1900), польский путешественник, сосланный в Сибирь за участие в восстании 1863 года. Вместе с Дыбовским, Чекановским и Вронским дошел вдоль реки Иркут до массива Мунку-Сардык и озера Хубсугул. Его фамилия увековечена в зоологии названиями двух видов и подсемейства.

⁶ Бронислав Пилсудский (1866-1918), брат Юзефа Пилсудского, этнограф, социолог, путешественник, сосланный в 1887 г. на Сахалин за участие в заговоре против царя. Занимался изучением айнов и гиляков, вел метеорологические наблюдения. С 1899 г. был хранителем музея во Владивостоке.

⁷ Фонд «Курническое предприятие» («Zakłady Kurmickie») существовал в 1925-1939 и 1945-1953 годах. Идея его создания родилась еще при жизни матери графа Владислава Замойского Ядвиги Замойской (урожденной Дзялунской). Первым упоминанием о намерении основать фонд было распоряжение, написанное в Париже 15 июля 1912 г. в присутствии Владислава, Ядвиги и Марии Замойских. Целью создания этой организации было сохранение имущества, которое в будущем должно было «служить польскому делу». Фонд должен был поддерживать и развивать основанную в Курнике Женскую школу работы на дому, обеспечивать содержание замка, библиотеки, научно-исследовательского института, индустриализировать имение, распространять среди населения профессиональные и сельскохозяйственные знания, а также принципы кооперации в католическом и национальном духе.



— *Несколько лет назад вы стали председателем совета Познанского национального музея и совета кураторов Фонда Рачинских. Что вам удалось сделать для Курника?*

— Возможно, тот факт, что мне удалось добиться воссоздания «Курницкого предприятия»⁷, — это и есть мой величайший жизненный успех. (В 1995 г. проф. Анджей Легоцкий инициировал законодательную процедуру, завершившуюся в 2001 г. принятием закона о воссоздании фонда. — С.Ф.) Фонд был ликвидирован в начале 50-х, и его воссоздание необходимо было закрепить подобным правовым актом. Это было нелегко, но вот уже несколько лет как фонд существует. Думаю, он сможет собирать средства, которые затем будут предназначаться на внедрение современных сельскохозяйственных технологий, на повышение уровня жизни великопольской деревни. Совет кураторов — это круг людей, пользующихся общественным доверием, которые наблюдают за работой фонда. Эти несколько тысяч гектаров принадлежат народу, а значит, это собственность всех нас. Теперь главное — разумно ею распорядиться. Мы будем учреждать стипендии, строить детские сады, развивать инфраструктуру. Нам удалось собрать множество активных людей. Фонд находится под официальным покровительством министерства просвещения и науки, а в совет входят представители президента Польши и примаса.

— *Какие сейчас отношения у музея и библиотеки с семьей Рачинских?*

— Познанский национальный музей — это третья по значению (после Кракова и Варшавы) национальная галерея. У президента в изгнании Эдварда Рачинского⁸ и его семьи была коллекция из 350 картин огромной ценности — не только материальной, но и исторической, художественной. Эта коллекция была передана Польше. Фонд семьи Рачинских занимается, в частности, поддержанием в порядке насчитывающего 600 гектаров родового имения в Рогалине. Рачинские были известными меценатами: в их коллекции были картины таких польских художников, как Яцек Мальчевский, Леон

Вычулковский, Витольд Войткевич, Станислав Выспанский, Ян Матейко, Юлиан Фалат, Ольга Бознанская, а из европейских — полотна таких живописцев, как Фриц Таулов, Франц Штук, Морис Шаб или Альбер Бенар. Это пример того, как состоятельные, патристически настроенные семьи могут участвовать в создании замечательных культурных центров на благо всего народа.

— *Великопольша всегда отличалась более высоким уровнем цивилизации и открытостью к миру.*

— Это экономически развитый регион, и, разумеется, он сохранил некоторые германские черты (ведь в период разделов он был в прусской части). С другой стороны, необходимо помнить, что именно здесь была колыбель нашей государственности. Здесь получила развитие идея органического труда. В XIX веке, после поражения обоих восстаний, революционные идеи и борьба за независимость уступили место взглядам таких людей как Август Цешковский или Кароль Либельт, которые были сторонниками повышения уровня государственного образования, развития экономики и культуры, чтобы таким образом более успешно сопротивляться захватчикам.

— *Многие мои краковские знакомые восхищаются Познанью, говорят, что это динамичный, открытый город, где чувствуется европейский дух. Потому что Краков — вроде бы жемчужина польской культуры, но такой замкнутый, слегка обветшалый...*

— Конечно, Познань мне очень близка. Там я ходил в школу, там закончил университет, прошел большую часть моего профессионального пути. Но столь же прекрасны Гданьск, Вроцлав, Лодзь. А как быстро развиваются в последнее время Люблин и Ольштын! Надо отдать должное многим польским городам, которые в небывалом темпе становятся все красивей и оживленней. А Краков? Это исключительная по красоте жемчужина нашей и общечеловеческой культуры.

Беседу вела Сильвия Фролов

⁸ Граф Эдвард Рачинский (1891-1993), последний мужской потомок рогалинской линии рода Рачинских, основатель Фонда им. Рачинских, действующего при Познанском национальном музее. В 30-е годы посол Польши в Великобритании, близкий сотрудник генерала Владислава Сикорского. Одно из главных действующих лиц польской политики на Западе. В 1976 г. был избран президентом Польши в изгнании. После 1991 г. передал возвращенное ему имущество народу, основав фонд, которому принадлежат недвижимости в Варшаве, Кракове и Дембнице, дворец в Рогалине и другие сокровища, включающие также собрание картин и книг.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Т. Косинова: Польсий миф 1956 года
Т. Конвицкий: Памфлет на самого себя
К. Маслонь о польской прозе
О. Закиров: из воспоминаний
А. Новак о «Великом Новгороде» Стефана Братковского
М. Выка о Станиславе Бжозовском
Г. Хлыстовский: действительно ли мы не издаем русских писателей?
Р. Пшибыльский об Иосифе Бродском и Анне Ахматовой
Б. Поцей о Ванде Ландовской
К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к началу столетия
Наши за границей: А. Северин, В. Пшоняк, З. Рыбчинский,
А. Холланд, Р. Полянский, А. Кшивицкий и др.
Беседы Сильвии Фролов с Е. Яроцким, В. Зинем, З. Ромашевским

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Бялошевского, Хартвиг,
Яструна, Херберта и др.,

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой, Ройтмана,
Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»
допущен к распространению на территории Российской Федерации
Решением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации **ПИ №77-1063** от 3 ноября 1999 года)

ЛУЧШИЕ ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ

Национальная Библиотека

представляет журналы:

twórczość

Старейший польский литературный ежемесячник, посвященный современной прозе, поэзии и литературной критике. Оказывает влияние на перемены в польской литературе.
тел.: +48 (22) 627-15-52; тел./факс: +48 (22) 628-95-07
e-mail: tworczość@bn.org.pl

Dialog

Ежемесячный журнал, посвященный современной театральной, телевизионной и радиодраматургии.
тел.: +48 (22) 608-28-80; +48 (22) 608-28-81; тел./факс: +48 (22) 608-28-82
e-mail: dialog@bn.org.pl
www.dialog.waw.pl

**NOWE
KSIĄŻKI**

Ежемесячник. На протяжении более полувека незаменимый источник информации о книгах. В каждом номере рецензии, интервью, статьи о писателях, публицистика, библиография, анонсы.
тел.: +48 (22) 826-62-60; тел./факс: +48 (22) 826-62-35
e-mail: noweksiążki@wp.pl

OWUTYGODNIK
ruch muzyczny

Старейший и единственный в Польше журнал, посвященный музыкальной жизни, творчеству и вопросам музыки. Выходит 26 раз в году.
тел.: +48 (22) 608-28-70; +48 (22) 608-28-71; тел./факс: +48 (22) 608-28-72
e-mail: ruchmuzyczny@onet.pl
www.muzyka.onet.pl/klasyka

**LITERATURA
na świecie**

Ежемесячник. Единственный журнал, уже многие годы публикующий все достойные внимания новинки современной мировой литературы.
тел.: +48 (22) 827-47-91; тел./факс: +48 (22) 828-64-96
e-mail: litnasw@free.art.pl

**НОВАЯ
ПОЛЬША**

Ежемесячник. Единственный журнал о Польше на русском языке. Богатая подборка публицистики польских и российских авторов. Переводы малоизвестных в России произведений польских поэтов и прозаиков.
тел.: +48 (22) 608-25-65; +48 (22) 608-27-95
тел./факс: +48 (22) 608-27-96; +48 (22) 608-25-05
e-mail: nowpol@bn.org.pl
www.nowpol.ru

odra
mięsiecznik

Ежемесячный журнал, широко представляющий современные проблемы общества и искусства. Форум критической гуманитарной мысли. Польша и мир, история и возможное будущее.
тел.: +48 (71) 344-77-37; тел./факс: +48 (71) 343-55-16
e-mail: odra@odra.art.pl
www.odra.art.pl

a
akcent
literatura i sztuka • kwartalnik

Ежеквартальный журнал, посвященный литературе и другим областям искусства в контексте последних достижений гуманитарной мысли. Выходит в Люблине с 1980 года.
тел./факс: +48 (81) 532-74-69
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl
www.akcent.glt.pl



**Biblioteka Narodowa,
Dział Wydawniczy
Czasopism Patronackich**

02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. (0-22) 608 24 88

Cena 6 zł w tym 0% VAT

ISSN 1508-5589

